

Карина  Демина

Хельмова дюжина красавиц.
Ведьмаки и колдовки



Если вам кажется, что жизнь ваша дошла до точки, приглядитесь: может, это всего лишь многоточие...

Annotation

Странные дела творятся в Цветочном павильоне. В зеркалах обитают призраки, да и сами эти зеркала ведут себя вовсе не так, как зеркалам положено. И красавицы все как одна с тайнами, кто проклята, кто одержима, кто и вовсе с беспокойниками дело имеет да Хельму проклятому поклоняется. И как Себастьяну понять, которая из них колдовка, ежели все подозрительны? Тут еще братец его родной с кровью волкодлачьей мешается, крысятник Гавел остатки репутации рушит, и ко всем бедам еще и королевич воспылал страстью к провинциальной панночке. А он к отказам непривычный...

Карина Демина

Хельмова дюжина красавиц. Ведьмаки и колдовки

Глава 1, в которой повествуется о нелегкой судьбе панночки Ядзиты, а также о буйных страстях и женских фантазиях

*У влюбленности и одержимости много общего.
Но с одержимыми легче бороться.*

*Мысли опытного экзорциста, изложенные им в приступе
откровения, случившемся после одного особо сложного
дела*

Впервые Ядзита увидела мертвяка на свое десятилетие.

Следует сказать, что в доме дни рождения праздновать было не принято, но старая нянька, заботам которой поручили панночку Ядзиту, поскольку собственная ее матушка болела, а батюшка был слишком занят научными изысканиями, накануне заветного дня приносила в комнату охапки полевых цветов.

И прятала под подушкой подарки.

Резной гребешок, пусть и стоивший два медня, но все одно нарядный, или бусы из ракушек, которые Ядзита сама собирала на речушке, или еще какую-то мелочь.

На кухне готовили шоколадный кекс, маленький, для одной Ядзиты.

И нянька вносила его на серебряном старом подносе, пожалуй, единственной серебряной вещи, которая осталась в старом поместье.

...продали его много позже.

В тот день она проснулась до рассвета и лежала в постели, слушая, как заливаются за окном соловьи. Солнце наступало с востока, золотило небо.

Дышалось легко и свободно.

— И чего валяешься? — поинтересовался кто-то.

— Хочу и валяюсь, — ответила Ядзита, зевая. Но в кровати села, прищурилась, сясь разглядеть того, кто тайком пробрался в ее комнату.

— Этак вся ночь пройдет. — Он, точнее, она и не думала прятаться.

Сидела на стульчике, спину выпрямив, ручки на коленках сложив; и что за беда, если эти коленки костлявые сквозь саван просвечивают, а сам саван, полупрозрачный, истлевший, растянулся по полу.

У незнакомки было бледное лицо с черными провалами глаз и губы синюшные...

Ядзита закричала.

И лишилась чувств, а когда пришла в себя, то светило солнце, а у кровати ее, уткнувшись в старую записную книжку, сидел отец.

— Очнулась? — Он произнес это недовольно, так, что Ядзите разом стало стыдно, что обмороком своим и болезнью — а Ядзита чувствовала себя невероятно больной — она оторвала отца от работы.

Над чем он работал, она не знала.

Отец запирался в Южной башне, появляясь лишь к ужину, и то не всегда. Но и ужины эти проходили в тягостном молчании. Мама вздыхала. Он листал очередной фолиант или вот эту самую записную книжку, которую и теперь держал в руках. Ядзите вменялось есть быстро, молча и не мешая родителям.

— И жар спал, — сказал отец, опустив на лоб Ядзиты ладонь. Широкая и темно-красная, та показалась невероятно тяжелой. Ядзита даже испугалась, что если отец немного надавит, то голова ее треснет. Но он руку убрал и брюзгливо поинтересовался: — Чего ты испугалась?

— П-призрака... я п-призрак увидела...

— И что? — Этот голосок она узнала. Девочка в платье-саване сидела на прежнем месте, но теперь в руках она держала любимую, а точнее, единственную куклу Ядзиты. — А я увидела человека. Но не ору же...

— Она... она...

Отец повернулся к девочке и, поморщившись, бросил:

— Клео, иди погуляй...

...так Ядзита узнала, что видеть мертвяков — это дар такой.

Редкий.

Наследный.

Отец рассказывал скупно, раздраженно, мыслями пребывая где-то далеко, наверняка в Южной башне.

— Нечего бояться. Они тебя не тронут, — сказал он напоследок и, захлопнув книжицу, добавил: — И вообще детям нужны друзья.

Он наклонился, запечатлев на лбу Ядзиты холодный поцелуй, и ушел. А она сидела в кровати и думала, что, конечно, друзей хотелось бы... но не мертвых же!

— Тук-тук. — Клео стояла на пороге. — Можно войти?

— Входи.

Не то чтобы теперь Ядзита вовсе ее не боялась, скорее... скорее уж чувствовала, что вреда ей и вправду не причинят.

— А кричать больше не будешь?

— Не буду.

Вскоре Ядзита поняла, что мертвые друзья мало в чем уступают живым...

— Семейное проклятие. — Она сидела, позволяя Себастьяну расчесывать тяжелые гладкие волосы. — Моя прапрапрабабка была колдовкой... служила Хельму...

Она рассказывала просто, спокойно, будто бы не было ничего-то особенного в том ее детстве, в играх с мертвецами, в подвалах, где стояли Хельмовы камни, потемневшие от крови, намоленные...

...о жуках, которых сама Ядзита приносила, нарушая запрет.

...о драгоценном кинжале, что лежал на жертвеннике, и даже отец, распродавший ради таинственного своего изобретения все ценное, не посмел тронуть рубины в рукояти.

...о лезвии, касавшемся кожи нежно...

...о дареной крови...

— Меня никто не вынуждал. Не просил. Не заставлял. — Ядзита склонила голову к плечу, она разглядывала свое отражение в зеркале с той же безмятежной улыбкой, к которой Себастьян успел привыкнуть. — Я просто знала, что должна поступить именно так. Камни

давно остыли. Отец подвалов избегал. Теперь я думаю, что он боялся. Мать... была другого рода. А бабка умерла задолго до моего рождения.

— Ужас какой, — вполне искренне сказала панночка Тиана, перехватывая тяжелые золотые волосы лентой.

— Да нет... просто привыкнуть надо.

Себастьян не сомневался, что с мертвыми друзьями без привычки управляться сложно.

— Некогда наш род на все королевство славился. Берри рассказывал... это...

— Призрак.

— Беспokoйник, — поправила Ядзита и тут же пояснила: — Призраки бесплотны и зачастую разума лишены... это след от человека на ткани мироздания. Со временем след затирается, тает. А беспokoйники разумны. И способны воплотиться. Клео вот вечно мои ленты тягала и еще нитки путала. Ей это веселым казалось. Беспokoйники остаются, когда душа не хочет уходить. Матушка Клео сильно над ней убивалась и этими слезами к земле привязала. Берри жена отравила, которую он любил без памяти... всякое случается. Прежде-то мы аккурат находили таких вот беспokoйников и помогали им отыскать дорогу...

— Упокаивали.

— Верно. Упокаивали. Берри меня многому научил. Еще Марта... и Люсиль... она очень нервная девушка была, крысиным ядом отравилась от несчастной любви. Потом жалела очень, тем более когда через двадцать лет эту самую любовь увидела...

Себастьян кивнул, думая, что собственное детство, пусть проведенное вдали от семьи, было вполне себе счастливым.

— Что было дальше?

— Ничего. — Ядзита пожала плечами. — Я росла. Время от времени подкармливала Хельмовы камни. Отец по-прежнему сидел в башне, изобретал. Мама умерла. Нянечка тоже, но они совсем умерли, то есть...

— Я поняла.

— Хорошо. Поместье постепенно хирело... денег не было. Их никогда-то не было, но отцу вдруг понадобились для его изобретения алмазы, и он меня продал. Ах, простите, выдал замуж... заплатили неплохо. Мне даже гардероб справили...

— Но жених до свадьбы не дожил.

— Увы... сердце слабое оказалось. — Ядзита вздохнула...

...само не выдержало? Или же беспokoйники дружескую услугу оказали? Себастьян не стал задавать лишних вопросов.

— Потом продал снова... и на конкурс вот отправил... — Она провела ладонью по зеркальной глади, которая пошла мелкими складками. — Ему... сделали хорошее предложение.

— Кто?

— Не знаю. Он принимал гостя в своей башне, а туда беспokoйникам хода нет. Меня в тот вечер из дому отослал... глупый какой-то предлог, я еще подумала, что он опять эксперимент ставит. Как-то на его эксперимент гроза разыгралась, и вторую башню почти начисто молнией снесло. Я не стала спорить, ушла. А потом Клео рассказала про карету и про то, что к карете они и близко подойти не сумели. Отец же заявил, что я должна участвовать в конкурсе, что выиграю...

Она замолчала.

Руку Ядзита от зеркала отнимала медленно, и тонкие нити стекла тянулись за ладонью.

— С ним сложно спорить. Он не сильнее меня и силу-то использовать не любит, но... я еще подумала, что конкурс — это мой шанс. Найти мужа... или хотя бы покровителя... кого-то, кто... беспокойники — близкие мне люди, но все-таки мертвые они.

Нити разорвались и втянулись в зеркальное полотно, рука же Ядзиты осталась чистой.

— Но когда я сюда попала, то... это место — большой погост... и беспокойников здесь множество, я слышу, как они зовут... и хотела поговорить еще в первую ночь.

— Не отозвались?

— Отозвались, но не пришли. Держат их... она держит.

— Кто?

— Откуда ж мне знать? Она сильная... очень сильная... и из меня силы тянет. Отец опять меня продал. — Сказано это было с легкой печалью, словно бы Ядзита вовсе не удивлялась такому его поступку. — Ей нужен мой дар... а я хочу жить.

— Сколько еще продержишься?

— Недели две... наверное... но все случится раньше.

— Откуда...

— Я ведь слышу, что они шепчут... а когда идет, то замолкают. Ищи на четной стороне.

Хорошая подсказка. Четная сторона. Габрисия, Мазена и Эржбета... еще Иоланта...

— Откуда она узнала про твой дар?

Ядзита вздохнула и, вытянув руку с белыми синеватыми ногтями, призналась:

— Думаю, она не знала точно, предполагала. Раньше-то род известный был... — Она смотрела на Себастьяна, и он готов был поклясться, что Ядзита видит насквозь маску и под незамутненным взглядом синих очей та тает...

— Дымка, — сказала Ядзита, опустив очи долу. — Если приглядеться хорошенько...

— Ты пригляделась?

— Теперь — да.

— А прежде?

— Прежде? — Она лукаво улыбнулась. — Я же говорю, здесь полно беспокойников... им о многом говорить запрещено, но... ты — не многое.

Чтоб тебя...

— К слову, если тебе, конечно, интересно, то... Богуслава одержимая... а Иоланту, похоже, прокляли.

...вот тебе и красавицы... чтоб их...

— Идем. — Ядзита открыла дверь. — Не стоит заставлять старую стерву ожиданием мучиться...

— Почему стерва?

— Потому... или думаешь, она не понимает, что здесь происходит? Понимает... и Иолу не так просто первой на часы поставила...

Тиана придержала красавицу за локоток и мягко поинтересовалась:

— Ночью где гуляла?

— В саду. — Ядзита не стала притворяться, будто не понимает, о чем речь. — Меня... попросили...

— Кто?

— Беспокойник... нет, он не из этих... он к дому отношения не имеет, но... иногда хочется поговорить с кем-то. И чтобы цветы подарили. И под луной пройтись... просто пройтись... понимаешь?

Себастьян кивнул, хотя от понимания, говоря по правде, был весьма далек. Мертвые ухажеры? Быть может, после мертвых друзей это и нормально, но...

— Габрусь — просто прелесть... хотите, я вас познакомлю?

— Воздержусь, — ответил Себастьян, а Тиана согласилась.

В ее Подкозельске покойники вели себя прилично, лежали в могилках, а не охмурили провинциальных некроманточек...

...надо будет Аврелию Яковлевичу сказать.

...и про беспокойника тоже.

Не королевская резиденция, а смутный погост какой-то...

...проснулась Евдокия ближе к полудню.

И вспомнила.

И простыню натянула по самые брови, потому как предаваться самокопанию вкупе с моральными терзаниями под простыней было удобней.

Вот же...

...случившееся ночью теперь казалось чем-то далеким и совершенно невозможным.

Неправильным!

Минут пять Евдокия разглядывала ту самую, натянутую поверх головы простыню, уговаривая себя, что ничего-то ужасного не приключилось...

...подумаешь...

...ей двадцать семь, а скоро и двадцать восемь будет...

...а она тут страданиям предается... и главное, что страдается-то неохотно. Солнышко сквозь простыню светит, птички за окошком надрываются... день новый, радостный... а она развалилась, пузыри пускает, ладно бы и вправду девицей была, а так...

Чего страдать?

Нечего.

И Евдокия решительно встала.

...о кольце она не сразу вспомнила, а вспомнив, удивилась тому, что кольцо это в пору пришлось. Сидело на пальце что влитое, знай себе камнем подмигивало.

Евдокия камень потрогала: теплый. Заговоренный, что ли?

...а все маменька с ее женихами...

Вот к чему приводит неумное родительское стремление дочернюю жизнь устроить!

Прохладная водица не уняла душевного волнения, породив новое беспокойство. Вернется Лихослав аль нет? Если колечко оставил, то вернется... небось такими вещами не разбрасываются... и что скажет? Как ему-то в глаза смотреть?

Ладно, если бы Евдокия себя соблазнить позволила, хотя и за это стыдно, приличные девицы так себя не ведут... нет, Евдокия давно уже смирилась, что неприличная... и вообще, ей бы мужчиною родиться... маменька вот тоже так говорила...

Небось точно взялась бы за розги, а то и за ремень кожаный, крученный, им дурь из девичьей головы выбивая...

...и что он теперь думать станет?

Известно что...

...распутная девка... гулящая... таким вот и ворота дегтем мажут, и окна бьют, и косы стригут, чтоб честных людей в заблуждение не вводили.

Евдокия замерла. Косы стало неимоверно жаль. Единственная красота — и той

лишиться...

— Дуся! — Аленка, как обычно, вошла без стука. — С тобою все ладно?

— Все. — Евдокия решительно за косу взялась — нет, не резать, но заплетать.

— Врешь.

— Вру, — призналась она, сражаясь с лентой. Вот диво, прежде-то коса сама собой плелась, руки знали работу, и сама она, привычная, скорая, успокаивала. Теперь путаются прядки, а лента выскальзывает. — Я... я, кажется... замуж выйду.

Сказала и ленту выпустила.

А гребень и того раньше упал. Евдокия же, разом лишившись сил, в кресло опустилась.

И вправду выйдет...

— За кого? — Всего ужаса новости Аленка не желала осознавать, но гребень подняла и ленту тоже и, бросив в шкатулку, другую достала — ярко-красную...

...куда Евдокии такие носить?

Яркое — это для девиц юных, ей же полагается...

...да разве она нынешней ночью не нарушила все мыслимые и немыслимые правила, не говоря уже о законах божеских?

И людских?

— За Лихослава...

Евдокия вытянула руку, которая позорно и мелко дрожала:

— Вот.

Камень в перстне налился тяжелой непроглядной чернотой.

— Красота! — оценила Аленка. — Поздравляю!

И ленту подобрала.

— Только если вдруг передумаешь, то сразу ему не говори.

— Почему?

— Он обидится и колбасу носить перестанет, — резонно заметила Аленка. — Тогда мы умрем с голоду...

Аргумент был весомым.

Впрочем, Евдокия не передумает... наверное.

— Но платье тебе я сама выберу. И остальное тоже. А то ты так и пойдешь, в суконном...

Евдокия кивнула.

Замуж.

Она и вправду выйдет замуж... за Лихослава, который...

...который что?

Что она вообще о нем знает?

...он ласковый и нежный. И губы у него сухие. А когда он Евдокиино имя произносит, то сердце стучит...

...чуткий...

...и десять лет провел на Серых землях, чтобы семье помочь...

...ему деньги нужны.

А Евдокия — так, приложением... и, быть может, честнее было бы с Грелем связаться, контракт подписать, чтобы он, Грель, в женины дела не лез. Она же в свою очередь и в его не полезет... и жили бы, женатыми, да каждый своей жизнью...

— Глупости какие-то думаешь, — сказала Аленка и за волосы дернула.

— Если бы...

Деньги — это не глупость, это реальность куда более осязаемая, нежели эфемерные чувства. Да и не говорил ничего Лихослав о чувствах.

Кольцо оставил, это да, но...

Евдокия повернула перстень камнем внутрь.

— Глупости. — Аленка не собиралась отступаться. — Знаешь, мне порой хочется тебя поколотить... деньги, деньги, деньги... ты ничего, кроме этих денег, не видишь.

— А что должна?

— Не знаю. Что-нибудь. Дуся, я не говорю, что деньги — это не важно. Важно.

...маменькин дом, купленный за сто двадцать тысяч лишь потому, что стоит он на главной улице, аккуратно напротив мэрова особняка...

...и шелковые обои...

...и обои бумажные, разрисованные в сорок цветов, а поверху еще золоченые...

...и полы дубовые...

...стекла в окнах заговоренные, особо прочные...

...трубы и водопровод... котел с подогревом в подвале... дрова для котла...

Деньги — это та же люстра из богемского хрусталя, которой маменька немало гордилась, потому что подобной красоты ни у кого-то в Краковеле не было, и сам мэр захаживал, любовался...

...и мебель резная, с позолотой. Аленкины любимые стулья, обтянутые гобеленовой аглицкой тканью да подложенные конским волосом...

...и наряды.

...драгоценности.

...столовое серебро и тот ужасающего вида парадный сервиз на шестьдесят персон, который хранился в сундуках.

— Я понимаю. — Аленка смотрела в глаза отражению Евдокии. — Но и ты пойми, что одно дело, когда деньги для жизни. А другое — когда жизнь за-ради денег.

Наверное.

...и все-таки точит, грызет сердце сомнение. Да, сейчас Лихо добр, а потом что будет, после свадьбы? И не выйдет ли так, что он просто возьмет Евдокиино приданое во благо собственной семьи, а ее сошлет подальше, чтобы не позориться...

— Эх, Дуся... — со вздохом Аленка отступилась, — какая ты порой бываешь упертая, сил нет. Коль сомневаешься, то не иди замуж.

Евдокия слово дала. А она слово свое держит, и... и вообще кольцо не снималось.

Это ли не знак?

И Евдокия, погладив теплый черный камень, повернулась к сестрице и велела:

— Рассказывай.

— О чем? — Аленка разом смешалась и взгляд отвела.

— О том, что здесь творится...

— Ничего не творится... вот вчера мы декламациями занимались. И мне кажется, я немалый успех имела. А Иоланта все время запинаясь, будто бы читать не умеет... Лизанька, напротив, читала очень громко. Мне кажется, что она думает, если громко — то хорошо... но, наверное, нельзя так говорить. Но ты сама знаешь, была ведь... а позавчера примерка была. Костюмы для бала-маскарада... по-моему, это как-то скучно: который год подряд шить цветочные наряды... хотя из тебя очень красивый гиацинт выйдет, поверь моему

слову...

Евдокия хмыкнула: неужто сестрица и вправду полагает, будто ее интересуют эти декламации, пикники и маскарады?

— Алена, я не о том спрашиваю, — с улыбкой произнесла Евдокия, признаваясь себе самой, что гиацинтовое платье и вправду выходило великолепным.

Лихо бы понравилось.

И понравится, если он сам, конечно, на этом балу объявится.

— Еще не время...

— Алена!

— Не время. — Глаза полыхнули яркой зеленью, сделавшись вовсе не человеческими. — Пожалуйста, Дуся... я пока не могу...

— Рассказать?

— И рассказать тоже... луна неполная... еще неполная... неделя всего осталась... пожалуйста. Неделя, и... и тебе бы уехать. Меня оно не тронет, а ты...

— А у меня охрана имеется.

...во всяком случае, по ночам.

Лихо вернулся на закате.

Обнял.

И, прижав к себе, тихо выдохнул:

— Ева... а я тебе ничего не принес... простишь?

— Прощу.

И не будет думать больше ни о чем. Как оно там сложится дальше? Как-нибудь, но... темнота укроет от ревнивого взгляда богов. И можно позволить себе быть бесстыдной и даже развратной.

Шелковая лента выскальзывает из косы.

И кожаный шнурок, которым он стягивает свои такие жесткие ломкие волосы. Тычется носом в руки, беспокойно, беззащитно, вновь и вновь произносит это, уже не чужое, имя:

— Ева...

...Евдокия.

...но и так хорошо. И обнять его, беспокойного, унять непонятную тревогу.

Пусть останется за порогом, за границей темноты. Будет день, будут заботы, а пока Евдокия разгладит морщины вокруг его глаз. И коротких ресниц коснется, которые колются, будто иголки...

...и замрет, уткнувшись носом в шею, горячую, сухую, как земля на старом карьере...

— Что ты со мной делаешь? — Его шепот тревожит ночь.

— А ты?

— И я...

Волосы перепутались, переплелись прядями, точно старые деревья ветвями... и хорошо лежать в кольце его рук.

Не думается ни о чем.

И Евдокия счастливо позволяет себе не думать...

Часы бьют полночь, но кто бы ни бродил по темным коридорам Цветочного павильона, в комнату Евдокии он заглядывать не смеет. А на рассвете, который Евдокия чувствует сквозь сон прохладой от окна, птичьим взбудораженным щебетом, Лихослав уходит.

...как ему верить?

И не верить никак...

...два дня прошли без происшествий.

Почти.

Странное пристрастие Иоланты к зеркалам не в счет. Теперь она повсюду носила с собой крохотное, с ладошку величиной, зеркальце, от которого если и отрывала взгляд, то ненадолго.

Улыбалась странно.

Говорила тихо.

А в остальном все как прежде.

Очередная свара Богуславы и Габрисии, которая, растеряв былую невозмутимость, расплакалась. И в слезах убежала в свою комнату; прочие же красавицы сделали вид, что ничего-то не заметили. А может, и вправду не заметили?

Эржбета писала.

...Ядзита, как и прежде, занималась вышивкой...

...Богуслава, растревоженная ссорой, мерила комнату шагами...

...Лизанька читала очередное послание, которое то к груди прижимала, то к губам, и вздыхала этак, со значением...

...Мазена, устроившаяся в стороне, тоже читала, но книгу в солидном кожаном переплете.

— Я... я больше не собираюсь молчать! — Габрисия появилась в гостиной.

Гневливая.

И глаза покраснели от слез... способна ли матерая колдовка плакать?

— Пусть все знают правду!

— Какую, Габи? — Богуслава остановилась.

...одержимая?

...об одержимых Себастьян знает не так и мало. Случается человеку по воле своей впустить в тело духа. Думают обычно, что справятся, верят, а после, когда оно бедой оборачивается, то удивляются тому, как же вышло этакое... и ведь началось все с того самого приворота.

Дура...

...и надо бы скрутить, сдать жрецам, авось еще не поздно, заперли бы, замолили, вычистили измаранную прикосновением тьмы душу.

Нельзя. Не время еще.

— Ты моего жениха увела!

— Помилуй, дорогая, не я увела. Он сам не чаял, как от тебя спастись... ты была такой... страшенькой... но с претензией. — Богуслава смерила соперницу насмешливым взглядом.

А ведь не переменилась. Не то чтобы Себастьян так уж хорошо знал ее — прежнюю, но сколько ни приглядывался, странного не замечал.

Не ошиблась ли Ядзита?

Вышивает, словно не слышит ничего; и прочие красавицы ослепли, оглохли... нет, не оглохли, прислушиваются к ссоре, любопытствуют.

— Да и кому интересны дела минувших дней. — Богуслава расправила руку, глядя исключительно на собственные ногти. Розоватые, аккуратно подпиленные и смазанные

маслом, они тускло поблескивали, и Себастьян не мог отделаться от ощущения, что при нужде эти ногти изменят и цвет, и форму, став острее, прочнее, опаснее...

...аж шкура зачесалась, предчувствуя недоброе.

— Никому, — согласилась Габрисия, мазнув ладонью по пылающей щеке. — Куда интересней, как ты с единорогом договорилась, дорогая...

Мазена закрыла книгу.

А Эржбета оторвалась от записей, Лизанька и та письмо, едва ли не до дыр зачитанное, отложила.

Интересно получается.

— Панночка Габрисия, — Клементина, по своему обычаю державшаяся в тени, выступила, — вы осознаете, сколь серьезное обвинение выдвигаете против княжны Ястрежемской? И если окажется, что вы клеветеете...

— Я буду очень удивлена, — вполголоса произнесла Ядзита. Игла в ловких пальцах ее замерла, но ненадолго.

— Я обвиняю Богуславу Ястрежемску в обмане и подлоге. Она давно уже не невинна... — Габрисия разжала кулаки. — Четыре года тому я застала ее в постели с... князем Войтехом Кирбеничем...

— Ложь, — легко отмахнулась Богуслава.

— Как драматично! — Эржбета прикусила деревянную палочку, уже изрядно разжеванную. — Накануне свадьбы невеста застаёт суженого с лучшей подругой в... в компрометирующих обстоятельствах...

— Габи, не позорься. — Богуслава не выглядела ни смущенной, ни напуганной. — Тебе показалось, что ты застала в Войтеховой постели меня...

— Показалось?!

— Именно, дорогая, показалось. У тебя ведь зрение было слабым... настолько слабым, что без очков ты и шагу ступить не могла. А тогда, помнится, очки твои разбились...

— Весьма кстати...

— Бывают в жизни совпадения...

— Я узнала твой голос. — Отступать Габрисия не желала. — Или ты и в глухоте меня обвинишь?

— Разве я тебя хоть в чем-то обвиняю? А голос... мало ли схожих голосов... я понимаю, — Богуслава поднялась, — очень понимаю твою обиду... и клянусь всем светлым, что есть в моей душе, что невиновна...

...она обняла Габрисию, и когда та попыталась отстраниться, не позволила.

— Тебя глубоко ранило предательство жениха. Верю, что ты застала его с кем-то...

Она поглаживала Габрисию по плечу.

— Но не со мной... Габи, ты радоваться должна...

— Чему?

Габрисия успокоилась, что тоже было несколько странно.

— Тому, что не успела выйти за него замуж. До свадьбы, после... он бы предал тебя... посмотри, какой ты стала...

Богуслава развернула давнюю приятельницу к зеркалу.

— Ты красавица... ты достойна много большего, чем то ничтожество... — Она обошла Габрисию сзади и, наклонившись, прижавшись щека к щеке, смотрела уже на ее отражение. — Ты с легкостью найдешь себе нового жениха... и уж он-то сумеет оценить

сокровище, которое ему досталось...

Габрисия смотрела на собственное отражение.

А то плыло, черты лица менялись...

...она и вправду была потрясающе некрасива: длинноноса и узкогуба, с близко посаженными глазами, с тяжелым подбородком, со сросшимися бровями, какими-то непомерно темными, точно кто-то прочертил по лицу ее линию.

Габрисия всхлипнула и зажмурилась.

— Это все в прошлом, дорогая... все в прошлом, — пропела на ухо Богуслава, отпуская жертву. — Мы так давно не виделись... и я готова признать, что ты несказанно похорошела! Не иначе, чудо случилось!

— А то, — громко сказала панночка Тиана. — Вот у нас в Подкозельске был случай один. Не, я сама-то не видела, но мне дядечкина жена рассказывала. А она хоть та еще змеюка, но врать не станет. У ее приятельницы дочка росла. Такая некрасивая, что прям страх брал! От нее кони и то шарахались, и чем дальше, тем хуже... кони-то что, скотина бессловесная, шоры надел и езжай себе, куда душе угодно. Женихи — дело иное... женихи-то с шорами ходить несогласны были.

Лизанька громко фыркнула и письмо вытащила. Мелькнула игла в пальцах Ядзиты... и Эржбета открыла книжицу...

— ...так когда ей шестнадцать исполнилось, то родители повезли ее в Познаньск, в храм Иржены-заступницы за благословением. Много отдали! Но помогло! Кони шарахаться перестали...

— Надо же... какой прогресс.

Богуслава отступила, а Габрисия как стояла, так и осталась, устремив невидящий взгляд в зеркало...

— А с женихами что? — поинтересовалась Эржбета, прикусывая самопишущее перышко.

— У кого?

— У дочери знакомой вашей тетки.

— А... ничего... приданое хорошее положили, и нашелся охотник.

— Приданое... приданое — это так неромантично...

— Зато реалистично, — подала голос Мазена, которая сидела с книгой, но уже не читала, гладила обложку. — Без денег никакая красота не поможет...

— Не скажи. — Эржбета вертела в пальцах изрядно погрызенное писало. — Истинная любовь...

— Выдумка.

— Почему?

— Потому. — Мазена книгу все-таки закрыла и поднялась. — Надолго ли хватит этой, истинной любви, если жить придется в хижине, а носить рванину? Работать от рассвета до заката, питаться пустой пшенкою.

— Ненавижу пшенку, — решительно вступила в беседу Лизанька. — Мне ее бабушка всегда варила. И масла клала щедро... а я масло не люблю...

— Что ж, — Мазена снисходительно улыбнулась, — если вы по истинной любви выйдете замуж за проходимца, который просадит ваше приданое в карты, то пшенку вы будете есть пустую. Без масла.

Лизанька обиженно поджала губы.

— Я говорю об истинной любви, которая настоящая, — сочла нужным уточнить Эржбета, — взаимная.

Но Мазену не так-то легко было заставить отступить.

— Можно и так. Тогда пшенку будете есть оба. Взаимная любовь, сколь бы сильна она ни была, не гарантирует ни счастья, ни... отсутствия у избранника недостатков. Поэтому любовь любовью, а приданое — приданым. И желательно, чтобы в контракте оговаривалась девичья доля.

— В каком контракте?

— Брачном.

— Нет, — решительно отмахнулась от ценного замечания Эржбета, — контракт... это совсем неромантично.

На сей раз спорить с нею не стали, и лишь Лизанька, подвинувшись поближе, поинтересовалась:

— А что это вы все время пишете?

Себастьян мысленно к вопросу присоединился, хотя, памятуя о находках в Эржбетиной комнате, ответ, кажется, знал.

Эржбета книжечку закрыла и, прижав к груди, призналась:

— Роман...

— О любви. — Мазена произнесла это тоном, который не оставлял сомнения, что к романам подобного толка она относится, мягко говоря, скептически.

— О любви. — Эржбета вздернула подбородок. — Об истинной любви, для которой даже смерть не преграда...

— И кто умрет?

— Одна... юная, но очень несчастная девушка, которая рано осталась сиротой... но и к лучшему, потому что родители ее не любили... считали отродьем Хельма... они сослали ее в старое поместье, с глаз долой... а потом вообще умерли.

А вот это уже любопытно. Родители Эржбеты были живы, но, сколь Себастьян помнил, особого участия в жизни дочери не принимали.

Почему?

Долгожданное дитя... единственное...

— И эта несчастная девушка, осиротев, попадет под опеку дальнего родственника... жадного и бесчестного.

— Ужас какой! — сказала Лизанька.

— И этот родственник отравит ее...

— Лучше бы замуж выдал, — внесла коррективы Ядзита. — На юных всегда желающие найдутся, которым приданое не нужно, сами приплатить готовы...

— Собственным опытом делитесь, милая? — Богуслава не упустила случая уколоть; но Ядзита лишь плечиком дернула.

— Да! — Идею с неожиданным воодушевлением подхватила Иоланта, оторвавшись от серебряного зеркальца. — Он захочет ее продать! Юную и прекрасную!

— Старику, — поддержала Ядзита. — Уродливому.

— Горбатому.

— И у него изо рта воняло... — Иоланта сморщила нос. — За мной как-то пытался один ухаживать... папенькин деловой партнер. Так у него зубы все желтые были, и изо рта воняло так, что я и стоять-то рядом не могла! А папенька все говорил, дескать, партия хорошая...

Иржена-заступница, я как представила, что он меня целует, так едва не вырвало!

— А вот у нас в Подкозельске...

Но панночка Тиана осталась неуслышанной, да и то правда, где Подкозельску равняться с романтической историей о юной прекрасной девственнице, замученной жестоким дядюшкой.

— И, понимая, что свадьбы не избежать... — Эржбета к постороннему вмешательству в сюжет отнеслась спокойно. Более того, воодушевленная вниманием, зарозовелась, в глазах же появился хорошо знакомый Себастьяну блеск. И это выражение некоторой отстраненности, будто бы Эржбета смотрит, но не видит, всецело ушедши в себя, — она выбирает смерть... и травится.

— Крысиным порошком, — подсказала Тиана.

— Крысиный порошок — это не романтично!

— Зато действительно. Вот у нас в Подкозельске крыс завсегда порошком травят. А в позапрошлом году мельничихина племянница полюбовнице мужа сыпанула. Из ревности. И та окочурилась... следствие было...

— Уксусом. — Лизанька выдвинула свою теорию и для солидности добавила: — Папенька говорит, что женщины чаще уксусом травятся. Или еще вены режут...

— Нет, уксус — это...

— ...не романтично.

— Прозаично! — ввинтила Мазена, которая держалась с прежним отстраненным видом, но к разговору прислушивалась внимательно. — Пусть она использует какой-нибудь редкий яд...

— Бурштыновы слезы...

— У вас в Подкозельске знают про бурштыновы слезы? — Мазена откинула с лица длинную прядку.

А глаза-то переменялись: болотные, темные. Нельзя в такие смотреться, но и взгляд отвести выходит с трудом немалым.

— А что, думаете, что раз Подкозельск, то край мира?! За между прочим, к нам ведьмаки приезжали с лекциями про всякое...

— ...бурштыновы слезы, пожалуй, подойдут, — сказала Эржбета, обрывая спор. — Редкий яд...

— Лучше б она их своему муженьку подлила. — Иоланта вертела зеркальце, то и дело бросая взгляды на отражение свое. — А что? От слезок смерть естественной выглядит... мне мой кузен рассказывал, что на горячку похоже...

— На чахотку, — уточнила Ядзита, перерезая тонкую черную нить.

— Пускай на чахотку... главное, что муженек бы того... и все... а она жила б себе вдовой...

— Нет. — Эржбета с подобным поворотом сюжета была категорически не согласна. — Моя героиня так поступить неспособна! Она юная! И очень-очень порядочная...

— Ну и дура...

— Не дура, просто... просто она на убийство неспособна! Она умрет накануне свадьбы... и ее похоронят в свадебном платье...

— В белом?

— Конечно, в белом! Я еще думаю, чтобы вокруг шеи сточка... или сделать воротник отложным? И шитье, конечно...

— Талия завышенная...

— И рукав двойной, я видела в журнале... очень красиво смотрится...

— Кружевная оторочка по подолу...

— А какая разница, в чем хоронить-то? — не удержался Себастьян, когда обсуждение не то свадебного, не то погребального наряда затянулось. — Платье и платье... беленькое и с рюшами...

— Рюши — это дурновкусие! — решительно заявила Габрисия и, окинув панночку Белопопольску насмешливым взглядом, передразнила: — Понимаю, что у вас в Подкозельске приличных женщин хоронят исключительно в платьях с рюшами, но здесь — дело иное...

— Похороны, — Эржбета что-то черкала в книжице, — это важное событие в жизни. Ну и в книге, само собой. Нельзя подходить к нему спустя рукава.

Действительно. С этой точки зрения Себастьян проблему не рассматривал.

— А дальше-то что? — поинтересовалась Лизанька.

— Дальше... дальше она встретит своего суженого... истинного... он — некромант. Молодой, но сильный...

— Не надо молодого, лучше, чтобы постарше был и опытный.

— Чем лучше? — возмутилась Лизанька.

— Всем! Чтобы суровый и жестокий даже... и не очень красивый. Чтобы все его боялись. — Габрисия прикусила губку. — Да, все будут бояться и не поймут, что в глубине души он очень-очень одинок...

— И тоскует!

— По чем тоскует? — Себастьян старался быть серьезным.

— По женской ласке, конечно! — На Тиану поглядели как на сущую дуру. — Все мужчины, даже очень суровые, в глубине души тоскуют по женской ласке...

И, ободренная поддержкой, Эржбета продолжила повествование:

— Он в городке проездом. Остановится ненадолго. И ему совершенно случайно понадобится свежий труп. Он тайно наведается на кладбище...

...и, нарушив несколько статей Статута, в совокупности своей дающих от семи до пятнадцати лет каторги без права досрочного выкупа, самовольно раскопает могилу.

— ...вскроет склеп, — сказала Эржбета. — Будет ночь. И полная луна воцарится в небе. Мертвенный свет ее проникнет сквозь окна...

— Зачем в склепе окна? — Себастьян все же не удержался.

— Какая разница?! Может, заглянуть кому понадобится... или выглянуть, — отмахнулась Иоланта. — Бетти, не слушай эту дуру. Рассказывай... я так и вижу, как свет проникает... а она лежит в гробу, вся такая прекрасная... в свадебном платье...

— И бледная...

— И юная... несчастная... и он не устоит...

— Извращенец. — Себастьян поерзал и поспешно добавил: — А что, если прямо там и не устоит, то точно извращенец. Вот у нас в Подкозельске был один, который могилки раскапывал. Нет, не некромант, а так... ненормальный. И главное, что ни бабами, ни мужиками не брезговал.

— Жуть какая!

Красавицы переглянулись и одновременно пожали плечами, верно решив про себя, что в страшный город Подкозельск они не заглянут.

— Он не в том смысле не устоит, — внесла ясность Эржбета. — В том очень даже

устоит... сначала устоит, а потом... в общем, он влюбится. И вошьет в нее свою силу, захочет, чтобы ожила... а она оживет...

...это вряд ли.

Будь в гостинной Аврелий Яковлевич, он бы сумел объяснить, почему невозможно поднять труп одним желанием, сколько силы в него ни вливай.

— Нет, так просто не интересно. — Мазена щелкнула пальцами. — Надо, чтобы как в сказке! Он ее поцеловал!

Себастьян мысленно, но от всей души посочувствовал несчастному, суровому, но очень одинокому и явно истосковавшемуся по бабам некроманту, которому придется целовать труп трехдневной давности.

— Да! — Идея Мазены красавицам пришлась по душе. — Он трепетно коснется мертвых губ ее...

...вдохнет запах тлена и бальзамического масла.

— И вглядывается в прекрасное лицо...

...подмечая бледность его, синеву трупных пятен и блеск воска, которым натирали кожу. В воображении Себастьяна несчастный некромант уже убедился, что не настолько он одинок, а по женской ласке и вовсе не тоскует, и попытался отстраниться. Но красавицы были беспощадны в своем неистовом желании устроить его личную жизнь.

— Он замрет, до глубины души пораженный неземною ее красотой...

...извращенец.

Некромант с Себастьяном не согласился, но послушно уставился на тело, оценивая изящество форм. Девица, как и положено приличному покойнику, лежала смиренно, не возражая против такого внимания.

— А потом... потом он все-таки поцелует...

Высказав все, что думает об этих женских фантазиях, матерый некромант поцеловал-таки красавицу в восковую щеку. И, торопливо отстранившись, вытер губы.

— В губы... — Красавицы были непреклонны.

— Может, — попытался вступить за несчастного Себастьян, — в губы не надо?

Его не слышали.

И некромант, изрядно побледневший от открывавшихся перспектив, торопливо чмокнул покойницу в губы. Та, естественно, не пошевелилась.

— Это будет долгий поцелуй...

...некромант оглянулся на Себастьяна в поисках поддержки, но тот лишь руками развел: мол, ничем-то помочь неспособен.

И бедолага, подчиняясь женской воле, приник к губам...

— ...он будет длиться и длиться...

Некромант зеленел, но держался. Покойница лежала смиренно.

— ...длиться и длиться... — В приступе вдохновения Эржбета воздела очи к потолку. — Целую вечность...

Меж тем в Себастьяновом воображении некромант, благо матерый, опытный и с нервами крепкими, что корабельные канаты, постепенно осваивался. И вот уже на высокую грудь покойницы легла смуглая пятерня.

Нет, определенно, извращенец!

Некромант лишь плечами пожал: не он такой... жизнь такая.

— И он почувствует, как ее губы дрожат...

...не чувствовал, но, не прерывая поцелуя, вполне профессионально обшаривал тело, попутно скovyривая с платья жемчужинки, которые исчезали в широком рукаве.

Это не некромант, а мародер какой-то!

Впрочем, что Себастьян в некромантах понимает? Да и... должна же у человека быть материальная компенсация полученной в процессе творчества моральной травмы? Меж тем некромант увлекся, но отнюдь не поцелуем и не заметил, как темные ресницы покойницы дрогнули. Он опомнился, лишь когда тонкие руки обвили шею... острые коготки нави распорили и кожаную куртку, и рубашку, и темную шкуру некроманта. Тот попытался было вывернуться, но покойница держала крепко.

И губы раздвинула, демонстрируя острые длинные клыки.

— ...она открывает глаза...

...черные из-за расплывшихся зрачков...

— ...и тянется к нему...

...к шее, движимая одним желанием — вцепиться в нее, глотнуть свежей горячей крови. Некромант, все же матерый, а значит, бывавший во всяких передрягах, почти выворачивается из цепкого захвата, одновременно вытягивая из левого рукава осиноый кол...

— Тянется... — Кажется, на этом моменте вдохновение все же покинуло Эржбету, и она огляделась в поисках поддержки, которую получила незамедлительно:

— И видит его!

...в Себастьяновом воображении навь давным-давно жертву разглядела, оценила и почти распробовала на вкус. И от осинового кола отмахнулась играючи, только руку перехватила, сдавила до хруста в костях.

Некромант же зубы стиснул. Помирать просто так он не собирался, а потому, отринув всякое уважение к покойнице, которая, говоря казенным языком, выказывала реакции, несовместимые с человеческой сущностью, вцепился в волосы и приложил прекрасным лицом о край саркофага.

Навь взвизгнула не то от обиды, не то от боли и руки разжала... Впрочем, сопротивление ее лишь распаляло. Поднявшись в гробу, она села на пятки, широко разведя колени. Острые, посиневшие, они разорвали платье, которое повисло грязными пыльными лоскутами. Навь выгнула спину, опираясь на полусогнутые руки, и черные кривые когти оставили на камне длинные царапины. Змеиный язык скользнул по губам... Навь зашипела и, покачнувшись, плавным движением соскользнула на пол. Она приближалась на четвереньках, медленно, и точеные ноздри раздувались, вдыхая сладкий запах крови.

— Видит... и влюбляется!

— Да, — подхватила Эржбета, — с первого взгляда!

Навь остановилась и озадаченно моргнула. Потрясла головой, силясь избавиться от противоестественных для нежити эмоций.

Но куда ей против красавиц?

— Она видит истинную его суть...

Нежить кивнула — видит. И суть, и серебряный стилет, в руке зажатый, и желание этим стилетом в честную навь ткнуть. А за что, спрашивается? Она ж не виновата, что этот извращенец целоваться полез?

— И суровую мужскую красоту, — поддержала фантазию Иоланта.

Склонив голову, нежить послушно разглядывала несколько помятого некроманта. Тот же не спешил убрать клинок.

— ...и одиночество... она сердцем понимает, насколько он одинок...

Сердце нави было столь же мертво, как она сама. Но нежить послушно порадовалась: с двумя некромантами справиться ей было бы куда сложнее.

— Эти двое предназначены друг другу свыше...

...нежить охотно согласилась и с этим утверждением: ужин, предназначенный свыше, пусть и не столь романтично, но практично до безобразия.

Некромант, уже наученный горьким опытом воплощения чужих фантазий, лишь хмыкнул и послал нави воздушный поцелуй. Та оскорбленно отшатнулась, а в следующий миг бросилась на человека, норовя подмять его под себя...

— ...и руки ее обвили шею...

...некромант захрипел, но силы духа не утратил и, перевернувшись, навалился на навь всем своим немалым весом...

— ...а губы коснулись губ...

...кляцнули клыки...

— И она со всей страстью юного тела откликнулась на его поцелуй.

Нежить всхрипнула, попытавшись избежать такого сюжетного поворота, но делать было нечего.

— В ее животе разгорался пламень любви...

...навь ерзала, не смея прервать поцелуй, и одновременно попискивала, аккуратно как трактирная девка, зажатая в уголке нетрезвым клиентом.

— ...снедая всю ее...

Некромант старался, видимо осознав, от чего будет зависеть и его жизнь, и здоровье.

— Он же, неспособный справиться с собой, сорвал с нее одежды...

...лохмотья платья полетели на пол, обнажая угловатое, жилистое тело нави, и гривку темных волосков, что пробилась вдоль хребта, и черничную прелесть трупных пятен, и швы, оставленные бальзамировщиком.

— ...и опрокинул на пол!

Красавицы слушали Эржбету, затаив дыхание.

Нежить, и без того лежавшая на полу, уже и не скулила, но лишь мелко, судорожно подергивала когтистой ногой.

— Он же снял с себя рубаху, обнажив мускулистый торс...

...торс уже был изрядно расцарапан, но на нежить впечатление произвел. Она даже замерла, впериw в некроманта немигающий взгляд черных глаз.

— ...орудие его мужественности грозно вздымалось! — меж тем продолжила Эржбета.

Некромант покосился на клинок, зажатый в кулаке, и, отбросив, покраснел.

— ...готовое погрузиться в трепетные глубины невинного девичьего тела...

Навь, видимо, тоже вспомнила, что умерла девственницей, хрюкнула и торопливо сжала колени. Себастьян от души и ей посочувствовал: все-таки с приличной нежитью так не поступают.

— Их захлестнула волна безудержной страсти... — Эржбета сделала паузу, позволяя слушательницам самим вообразить эту самую волну.

...навь вяло отбивалась, отползая к саркофагу, некромант наступал, потрясая орудием своей мужественности, которое вздымалось, может, и не грозно, но на покойницу производило самое ужасающее впечатление. Она уперлась спиной в стенку и обреченно закрыла глаза, признавая поражение.

Куда бедной нежити против волны страсти?

— ...и не отпускала до самого рассвета.

Некромант только крикнул, прикинув, что до этого самого рассвета осталось часов пять-шесть. На лице его появилось выражение обреченное, но решительное.

— Их тела сплелись друг с другом... вновь и вновь его меч пронзал трепещущую плоть, исторгая из горла сладострастные стоны...

Себастьян прикусил мизинец, сдерживая тот самый стон, правда, отнюдь не сладострастный.

Пауза затягивалась...

— Как мило! — наконец произнесла Лизанька. — Так... откровенно... и эмоционально!

— Чувственно! — поддержала ее Габрисия, смахивая слезинку. — А... а что было дальше?

— Когда наступил рассвет, — Эржбета без сил опустилась на софу, — он понял, что не сможет без нее жить...

...обессиленный некромант растянулся на полу, вперившись пустым взглядом в потолок. И нежить доверчиво свернулась клубочком под его рукой.

— Он забрал ее...

...подумав, что с его-то профессией навь в паре иметь где-то даже выгодно...

— ...и предложил ей свое имя...

...а заодно и долю в грядущих делах.

— И еще поместье... он оказался древнего рода... и князем...

Князь-некромант? И не простой, а бродячий? Хотя... если есть князь-актер, то почему бы и некроманту не случиться?

— Конечно, его родственники были против...

...в чем-то их Себастьян понимал. Нежить же, тихонько хмыкнув, вытащила из сумки будущего супруга записную книжицу, точь-в-точь как у Эржбеты, и принялась что-то царапать. Похоже, родственников у князя-некроманта имелось в изобилии, а потому в обозримом будущем голод навь не грозил.

— Особенно матушка... но она потом передумает и благословит их...

Выразительно фыркнув, навь обвела очередное имя кружочком, надо полагать, решила опередить этот сюжетный поворот. И верно: от материнского благословения и упокоиться можно. А загробная жизнь навь пришлась очень даже по вкусу...

— Я назову книгу «Полуночные объятия», — доверительно произнесла Эржбета, поглаживая кожаную обложку. И ее поспешили заверить, что название — ну очень удачное...

Некромант промолчал, только будущую жену за острым ухом поскреб. И она блаженно зажмурилась... в конце концов, и нежити ничто человеческое не чуждо.

Глава 2

О королевском коварстве, бабочках и переменчивых обстоятельствах

Все могут короли.

Первый пункт Статута королевства Познаньского, каковой вызывает немалые нарекания среди противников абсолютной монархии

...тем же вечером его величество изволили дремать в библиотеке. Не то чтобы в Гданьской резиденции не имелось иных покоев, но вот в библиотеке королю спалось особенно хорошо. Благотворное воздействие оказывала тишина, изредка нарушаемая кряхтением зрителя королевской библиотеки, пребывавшего в том почтенном возрасте, до которого и сам Мстивойт Второй надеялся дожить. Способствовал покою и полумрак, и массивные шкапы, достававшие до самого потолка, и сам вид томов, солидных, толстых, с кожаными переплетами и золотой вязью названий.

Бывало, в полудреме его величество приоткрывали глаза и принимались названия читать.

...Истинная история королевства Познаньского, от темных времен до дней нынешних, писанная...

...Благие деяния короля Згура Первого...

...Подробное жизнеописание святой Бенедикты...

Читал и вновь возвращался в полудрему, скрываясь в ней и от королей былых времен, и от святых, и от прочих напастей. Бывало, что начинал точить душу червячок: мол, все-то предки чем-то да прославились, кто войнами победоносными, кто реформами, Болеслав Первый опять же университет основал, а он, Мстивойт Второй, просто царствует себе...

И что после смерти его напишут?

Что, мол, был такой король... просидел на троне два десятка лет, да без толку. И ведь не докажешь-то потомкам, что войны в нынешние времена — мероприятие разорительное, в реформах надобности особой нет, потому как живут подданные тихо и со всем своим удовольствием, а университет новый основывать... кому он надобен?

В каждом городе уже имеется.

А в Познаньске — так цельная Академия.

Вот и мучился Мстивойт, втайне страдая от этакой жизненной несправедливости. Хоть ты и вправду к упырям посла отправляй, налаживай отношения с альтернативными носителями разума...

Мстивойт вздохнул, поскольку и в полусне идея выглядела диковатой.

Посла было жаль: сожрут же...

— Дорогой, — этот голос спугнул картины, в которых Мстивойту ставили памятник, бронзовый и конный, как полагается, а еще именем его называли улицу... — я так и знала, что найду тебя здесь!

Ее величество, не дожидаясь приглашения, сели.

В полумраке библиотеки королева была почти красива. Ей шло и это платье из темно-зеленой переливчатой тафты, и ожерелье из змеиного камня, прикрывавшее шею, на которой уже появились первые морщины.

— Это так утомительно, — пожаловалась она, открывая толстый том очередного жизнеописания, кажется, святого Варфоломея, прославившегося тем, что донес до дикарей-каннибалов слово Вотана...

...а может, не такая и дурная идея с послом-то? Каннибалы небось не так уж сильно от упырей отличались?

— Ты должен сказать Матеушу, что он ведет себя неразумно!

— Что опять?

— Вот. — Ее величество с готовностью подсунули уже знакомую желтую газетенку, сложенную вчетверо. Со страницы на короля, насупившись, выпятив нижнюю фамильную губу, которая на снимке выглядела несообразно огромной, смотрел Матеуш. — Они пишут, что он собирается сделать этой... девице предложение!

— Чушь, — с зевком ответил король.

...и мысленно добавил, что если его наследник будет столь глуп, что нарушит договоренность со сватовством, то и вправду отправится нести упырям слово Вотана.

Разумное и вечное.

— Полагаешь? — Королева хоть и не отличалась особой мнительностью, но, когда дело касалось старшего отпрыска, предпочитала все же перестраховаться. Матеуш был умным мальчиком... но мальчиком... а во дворце — полно коварных хищниц...

— Надеюсь. — Его величество вновь зевнули, широко и смачно, до ноющей боли в челюсти. — Народ любит сказки, вот ему и пытаются продать очередную...

Он газету развернул.

— Посмотри сама, новость даже не на первой странице... сами понимают, что чушь...

Первую страницу занимал броский заголовок «Любовь и ревность: смертельные страсти в познаньской полиции».

А разворот радовал снимком.

Его величество хмыкнули и перевернули газету вверх ногами, разглядывая изображение пристально, точно надеясь увидеть нечто иное, сокрытое...

— Это просто ужасно, — сказали ее величество, которая газету уже прочитала, а эту статью так и вовсе два раза, в особо трогательных местах — а рассказчик был очень эмоционален, — вздыхая. Страстей в ее жизни не то чтобы не хватало, скорее уж были они привычными, все больше с политической подоплекой... тут же иное.

Дела сердечные.

Любовь. Ревность, едва до смертоубийства не доведшая... и, несомненно, раскаяние, которому, как виделось ее величеству, прежде Аврелий Яковлевич был чужд.

— Забавно, — сказал король, возвращая снимок в исходную позицию. — И несколько... неожиданно...

С Аврелием Яковлевичем он был знаком и мнил себя если не другом — все же королевская дружба понятие скорее умозрительное, — то всяко лицом, к ведьмаку расположенным, облеченным доверием. А потому удивительно было читать об этих Аврелия Яковлевича пристрастиях. Да и ненаследный князь Вевельский, к слову, его величество несколько раздражавший лихостью — каковая виделась показной, — слыл большим охотником до слабого полу.

Надоело им, что ли?

И ладно если бы так, но... к чему сии представления в королевском парке устраивать? Иных мест не нашлось?

— Мы должны что-то сделать. — Окончательно уверившись, что новость о намерениях Матеуша жениться на девице неподходящей — все же мальчик разумен, пусть и молод, — рождена исключительно воображением репортеров, ее величество переключились на иные проблемы.

— В ссылку отправить? — Мстивойт нахмурился.

Во-первых, на дворе небось не смутные времена, чтобы за дела частные людей в ссылку отправлять, и вряд ли сия мера найдет поддержку у народа. А во-вторых, сослать-то можно, но кем Аврелия Яковлевича заменить? А ежели только князя отправить, что Мстивойт, положи руку на сердце, сделал бы весьма охотно, ведьмак, глядишь, обидится...

— Вотан милосердный! Ну отчего сразу в ссылку?!

— Так не на плаху же!

— Дорогой... — Королева протянула было руку к газете, но его величество сей жест проигнорировали. «Охальник» оказался неожиданно забавен, всяко интересней жизнеописаний. — ...У вас какое-то несовременное мышление. Плаха, ссылка... да во всей Эуропе сие, простите сказать...

...королевский мизинчик стыдливо указал на газетенку...

— ...давно уже не считается грехом.

Мстивойт хмыкнул.

— И что вы предлагаете?

— Мы... мы должны показать пример толерантности и широты мышления.

— Это каким же образом?

...пример толерантности и широты мышления... фраза-то какая красивая... прямо-таки просится на бумагу, в официальную биографию...

...интересно, отметят ли толерантность потомки? Желательно, чтобы памятником...

— Устроим им свадьбу.

— Свадьбу? — осторожно переспросил Мстивойт, поглядывая на супругу искоса: не шутит ли. Хотя за прошедшие годы он имел возможность убедиться, что у дорогой его жены чувство юмора отсутствовало напрочь. И сейчас ее величество были предельно серьезны.

И вдохновлены собственной идеей.

Вон как щеки зарозовелись... и все-таки, несмотря на некрасивость, она была по-своему привлекательна. И как-то отстраненно Мстивойт подумал, что в целом с супругой ему очень даже повезло.

Мила. Воспитанна.

Умна.

...правда, иногда ее одолевали идеи престранные, наподобие этой.

— Свадьбу, — повторила королева. — Прекрасное торжество во дворце... пригласим послов: пусть видят, что в королевстве не чужаются новых веяний. Вы выступите посаженным отцом... хотя нет, лучше пусть ваш дорогой кузен... он тоже член королевской фамилии...

Мстивойт слушал, кивал и думал, что если потомки и оценят широту его взглядов, то памятником вряд ли облагодетельствуют... да и не нужен ему памятник за такие заслуги.

— Простите, дорогая... кто из них будет невестой?

— Себастьян, — ответила королева, не задумываясь, и тут же пояснила: — На нем лучше платье сядет...

Его величество хмыкнули. Все же не отпускала его мысль, что ненаследный князь этакой заботы не оценит.

— А вы уверены, что свадьба им нужна?

Королева нахмурилась.

— Конечно. Они ведь любят друг друга. А если любят, то должны хотеть пожениться.

С этим утверждением Мстивойт мог бы и поспорить. Любовь с ним приключалась не то чтобы частенько, но временами, однако желания связать судьбу с кем бы то ни было не возникало. Может, потому, что судьба эта была связана с ее величеством, а может, любовь приключалась какая-то неправильная.

— Дорогая, — король поцеловал сухопарую, костистую ладонь супруги, — давай для начала я поговорю с Аврелием Яковлевичем, а там уже решим... если он и вправду...

...а чем дальше над сим казусом Мстивойт думал, тем сильнее сомневался в истинности написанного «Охальником»...

— ...так уж любит князя Вевельского, то препятствовать... воссоединению их мы не станем. Дадим разрешение на брак...

...но никаких пышных свадеб под королевскими знаменами. Толерантность толерантностью, но его величество крепко подозревали, что в народе к европейским тенденциям отнесутся без должного энтузиазма.

Себастьян, к счастью для себя, о высочайших планах понятия не имел и, сидя на кровати, пересчитывал розы. Очередную корзину доставили поутру. Меж тугих бутонов, посеребренных, видать, для пущей красоты, белел конверт, который хочешь или нет, а придется в руки брать.

И, вздохнув, Себастьян двумя пальчиками его вытащил.

Вскрыл тонким ножичком.

И с матом отшвырнул прочь: из бумажного кармана выпорхнула дюжина бабочек, которые разлетелись по комнате. С крыльев их осыпалась золотистая пыльца, и стоило вдохнуть ее, как в носу тотчас засвербело.

— Нехорошо, ваше высочество. — Нос Себастьян потер, но свербение не унялось.

Чихнул он громко, бабочек распугивая. Они метались по комнате, ударяясь о стекло с громким премерзким звуком. Заговоренной пыльцы становилось все больше, и Себастьян, зажав нос рукавом, выскочил в коридор, чтобы нос к носу столкнуться с Лихославовой девицей.

Она стояла, сложив руки на груди, и мрачно гляделась в зеркало.

Ничего такая... аккуратненькая, фигуристая... и когда не хмурится, должно быть, симпатична... конечно, не чета Христине, но это скорее достоинство, чем недостаток.

— Кого-то ищете? — прогнусавила панночка Тиана, конвертом отмахиваясь. Треклятые бабочки, верно заговоренные на Тиану Белопольску, теперь стучались в дверь.

Свербение в носу стало почти невыносимым.

И Себастьян громко чихнул...

— Нет... пожалуй...

Он глубоко вдохнул, приказывая себе успокоиться, а заодно проклиная доброхота, который присоветовал его высочеству отправить такой изящный подарок.

Чтоб его...

— У вас что-то с лицом... — сказала купчиха, взглядываясь как-то слишком уж пристально.

— Щеки покраснели, да?

Он потрогал щеку, убеждаясь, что за краснотой дело не стало... на гладкой коже проклеывалась чешуя.

— Бабочки... — сдавленным голосом произнес Себастьян, прижимаясь спиной к двери. — Терпеть не могу бабочек...

— Да?

— У них крылья... и чешуйки... вы знаете, что когда бабочки летают, то эти чешуйки сыплются? Отвратительно, правда?

Купчиха медленно кивнула.

Зудели руки.

И спина.

И Себастьян, не способный справиться с этим зудом, о дверь поскребся.

...да что ж это такое!

Если королевич, то, выходит, все дозволено? Между прочим, привороты — это противозаконно...

— Идем. — Купчиха вдруг схватила за руку и потянула за собой.

Себастьян вновь чихнул и попытался было пальцами нос зажать, да вовремя увидел, как переливается на них золотом заговоренная пыльца...

...подсудное же дело!

Евдокия шла быстро, едва ли не бегом, и благо коридоры Цветочного павильона были пусты не то по вечернему времени, не то сами по себе.

И в этом крыле Себастьяну бывать не доводилось.

Он со стоном поскреб шею, которая уже покрылась плотной четырехгранной чешуей... жалобу напишет, сегодня же... две жалобы... или три, и генерал-губернатору лично... мало того что Себастьяну приходится терпеть душевные излияния королевича, который повадился подолгу гулять с панночкой Тианой, повествуя ей о нелегком королевском бытии, так еще и приворожить пытаются...

Евдокия пинком распахнула резную дверь и втокнула Себастьяна в комнату.

Ручку застопорила стулом и, уперев руки в бока, сказала:

— Ну и как это понимать?

— Никак, — ответил Себастьян и с немалым наслаждением о стену потерся. — Никак... не... понимать...

Чешуя стремительно отслаивалась и опадала на пол полупрозрачными лоскутами. Крылья все-таки получилось удержать, а вот лицо поплыло.

Вот же ж...

— Говорю же... не люблю бабочек... очень остро на них реагирую. — Себастьян отодрал от щеки тонкую полоску кожи.

— Надо же, печаль какая...

— Увы...

Зуд постепенно отступал, но кости ломило, и, значит, лицо вернулось прежнее... зеркало, висевшее тут же, подтвердило догадку.

— Ничего объяснить не желаете? — почти вежливо поинтересовалась купчиха и

револьвер достала, должно быть, в качестве дополнительной аргументации.

— Не желаю. — Себастьян учтиво отвел дуло в сторонку, про себя заметив, что револьвер девица держит спокойно, так, словно бы случилось ей прибегать к оружию не единожды.

— А если подумать?

— Панночка... Евдокия, — он заткнул дуло мизинцем, — поверьте, это не вашего ума дело...

— Неужели?

— Именно... я весьма благодарен вам за своевременную помощь. — Себастьян все же чихнул и почесался. — Но буду еще более благодарен, если вы о ней забудете...

— Даже так?

Определенно, следовать совету девица не собиралась.

— Милая, — Себастьян сдул длинную прядь, прилипшую к носу, — уж поверьте...

Платье жало в плечах и оказалась коротковато, он не мог избавиться от мысли, что из-под кружевного розового подола торчат собственные Себастьяна волосатые щиколотки. Атласные домашние туфли еще где-то в коридоре слетели с ног. Чулки продрались, и из дыр выглядывали пальцы. Себастьян шевелил ими, чувствуя, как по тонкому шелку расползаются дорожки.

Вид идиотский.

Почему-то больше всего раздражали волосы, заплетенные в косу... и лента в них. Лента была завязана бантом, который хотелось содрать, как и растреклятое это платье.

— Милая, вы знаете, кто я?

Девица, переведя взгляд с револьвера на лицо Себастьяна, хмыкнула:

— К несчастью, да.

— В таком случае, вы понимаете, что здесь я нахожусь не по собственной прихоти.

А в ближайшем рассмотрении она вполне себе симпатична. Нет, все еще не красавица, да и вряд ли когда-то такой была. Она из тех, которые и в юности отличаются несуразностью, угловатостью и, зная за собой это, становятся невероятно стеснительны.

Взрослея, учатся стеснительность прятать...

— Да неужели? — Евдокия, похоже, не просто спрятала — похоронила.

Но хоть револьвер убрала, все хлеб.

— Дело государственной важности. — Себастьян отбросил раздражавшую его косу за спину и, наклонившись к розовому ушку Евдокии, произнес: — Секретное...

Она, вместо того чтобы зардеться, как полагалось немолодой, но глубоко закомплексованной девице, отпрянула. Впрочем, тут же взяла себя в руки и, указав на стул, велела:

— Садитесь и рассказывайте, что здесь творится.

— Боюсь, это не вашего ума дело...

— Повторяетесь.

Евдокия обошла его по широкой дуге, разглядывая пристально. И насмешки не скрывала...

— Пан Себастьян, — весьма любезным тоном произнесла она, остановившись у двери, — мне кажется, вы меня недопоняли...

— Опять за револьвер возьметесь? Девушка, учитесь использовать другие аргументы.

— Благодарю за совет. Всенепременно. — Здрав подол, Евдокия оружие спрятала.

Ножки у нее оказались аккуратные...

— Пан Себастьян, нам с вами револьвер ни к чему. — Она распрямилась и юбку оправила. — Все просто. Вы, может, и собираетесь молчать... скажем, из интересов государственных... а вот у меня такого желания нету... у меня есть желание иное...

Вот же...

Девушка усмехнулась и, отбросив за спину толстенную, соломенного цвета косу, продолжила:

— Я, может, в крепком душевном волнении пребываю... как же, одна из конкурсанток — мужчина... представляете, что скажут остальные?!

— Вы не посмеете.

— Отчего же? Посмею. Я ведь не просто так здесь присутствую... наблюдаю... и просто-таки обязана делиться наблюдениями с общественностью. А уж в какой восторг эта общественность придет, узнав о том, что Себастьян Вевельский обманом проник на конкурс красоты... да вы до конца жизни не отмоетесь.

— А вам и радостно?

Она пожала плечами.

Радостно.

Вот стерва! И главное, не пытается этой радости скрыть. А ведь женщинам Себастьян нравился, особенно таким вот, вышедшим из девичьего возраста, но еще не вошедшим в годы, которые стыдливо именовались «элегантными».

— Я вас посажу, — с очаровательной улыбкой пообещал Себастьян и, не выдержав, поскребся.

— Посадите... наверное... если у вас получится. — Евдокия не собиралась отступать. — Ведь, если разобраться, я лишь пытаюсь защитить невинных девушек, оказавшихся в ситуации столь... двусмысленной.

Она и пальцами щелкнула, и от звука этого — тихого, но отчего-то резкого — Себастьян вздрогнул, припомнив самый первый день.

— Или вы собираетесь поступить, как подобает человеку благородному? — Евдокия встала у окна, скрестив руки на груди.

Грудь была пышной, а руки — белыми.

— Это как же?

Себастьян, не пытаясь раздражения скрыть — пыльца еще действовала, мешая вернуть контроль над телом, — потянул за пояс. В платье было тесно, неудобно, и вид идиотский.

— Жениться, — это страшное слово Евдокия произнесла с улыбочкой, более на оскал похожей.

— На вас, что ли?

— На мне не надо.

Платье не снималось. Себастьян дергал растреклятые юбки, с трудом сдерживая ярость. Но она пробивалась острыми когтями, и чешуей, и хвост, почему-то оставшийся тонким, с кисточкой-пуховкой, отчаянно стучал по половицам.

— Я как-нибудь переживу этот страшный позор... а вот бедные девушки... — Евдокия выразительно замолчала, устремив очи к потолку.

Себастьян тоже посмотрел на всякий случай.

Потолок был обыкновенным, в виньетках и цветах, правда, белили его давненько, и оттого потолок успел уже пойти пятнами.

— И как предлагаете мне на них жениться? — Платье все же поддалось, и, стянув его через голову, Себастьян скомкал розовую, бабочками расшитую ткань. — Одновременно?

Евдокия задумалась.

А живое воображение Себастьяна нарисовало свадьбу с одиннадцатью невестами... ладно, минус колдовка, всего-то десять...

— Одновременно не получится. Даже в каганате лишь четыре жены позволено иметь. Поэтому придется в порядке живой очереди. Женились. Пожили год. Развелись. Думаю, его величество отнесется с пониманием...

— Вы издеваетесь. — Следом за платьем отправилась и нижняя рубашка, а за нею — шелковые чулочки с подвязками. Себастьян с преогромным удовольствием избавился бы и от панталон с кружевами, но тогда бы вид его был вовсе неподобающим.

— Я? Как можно! Мне казалось, это вы издеваетесь, и не только надо мной...

— Когда это я над вами издевался?

Панталоны сползали, и Себастьяну приходилось придерживать их руками...

Отвечать Евдокия не стала, но и от двери не отошла.

— Итак, у вас, пан Себастьян, имеется выбор. Или вы все-таки рассказываете, что здесь происходит, стараясь при этом быть убедительным. Или я зову сюда панну Клементину...

— Послушай...те, панночка Евдокия. — В кружевных панталонах было непросто выдерживать подобающую случаю серьезность. — Ваше любопытство... неуместно. Вы и вправду лезете в дела, которые вас совершенно не касаются...

Слушает.

Смотрит. И выражение лица упрямое. Понимает. Лезет и будет лезть, пока не влезет по самую свою макушку... и вот что остается делать бедному актору?

...тем более связанному клятвой крови?

— Кстати, врать не советую. — Евдокия вытащила кулончик, крутанула в пальчиках.

Чтоб ее...

— Евдокиюшка, — Себастьян оказался рядом с упертой девицей и, приобняв ее, взял за ручку, — вы же взрослый человек и понимаете, что не всякое любопытство уместно... давайте просто забудем, что видели друг друга...

Забывать она не намеревалась и ручку попробовала высвободить, но Себастьян не позволил.

Пальчики пахли свежей сдобой.

И еще копченой колбасой...

...откуда взяла?

— А после... когда все закончится... мы с вами встретимся в приватной обстановке... обсудим проблему и, я уверен, найдем такое ее решение, которое всецело удовлетворит обе стороны...

С каждым словом он наклонялся все ниже и договаривал уже на ушко, розовое такое ушко с золотой подковкой серьги.

— Руки...

— Что, дорогая?

— Руки убери, — прошипела Евдокия, наступив на ногу. И ведь туфельки хоть домашние, но с острым каблучком.

— А это уже нападение на актора... при исполнении служебных обязанностей... — мурлыкнул Себастьян, прижимая упрямую девицу к груди. — Но мы же не станем заострять

на том внимание, верно?

...наверное, приворотное все же подействовало...

...из-за яда ли, либо же ведьмаки у его высочества были хорошие...

...или просто нервы сдавать начали от обилия цветов, бабочек и атласных лент.

Как бы там ни было, но купчиху он целовал со всей накопившейся злостью, невзирая на довольно-таки активное сопротивление... пожалуй, несколько увлекся.

Сквозняк по спине почувствовал, но значения не придал...

А потом девица вдруг всхлипнула...

...и за спиной раздалось глухое рычание... правда, почти сразу стихло... сквознячок вот остался...

— Вы... — стоило Евдокию отпустить, как она отскочила и первым делом губы вытерла, — вы... с-скотина! С-сволочь...

— Хотите сказать, не понравилось?

Она его невероятно раздражала. Упрямством своим. И курносым вздернутым носиком. Веснушками, которые не пыталась скрывать под пудрой. Манерами.

Взглядом, в котором виделось... презрение?

— Только попробуйте это повторить и...

— И что?

— Я закричу... я...

Она и вправду собиралась закричать, чего Себастьян допустить никак не мог, и, сграбастав купчиху в охапку, он повторил эксперимент...

...не нравится ей.

...всем нравится, а она тут... нашлась исключительная...и главное, упрямая какая, вместо того чтобы поддаться, как положено приличной женщине в горячих мужских объятиях, упирается, выгибается, разве что не шипит, и то лишь потому, что неспособна.

— Будете орать? — поинтересовался Себастьян, выдыхая.

— Буду. — Купчиха с силой впечатала острый каблучок в ступню, а когда Себастьян на мгновение руку разжал — все-таки больно, когда в живого человека каблучком тыкают, — вывернулась.

Недалеко.

До столика.

До бронзового канделябра, на столике стоявшего...

— Еще как буду, — сказала Евдокия. И это было последнее, что Себастьян услышал.

...нет, в его жизни всякое случалось, но чтобы канделябром и по голове... за что, спрашивается? Он хотел было спросить и рот открыл, но второй удар, куда более ощутимый, вверх его в темноту.

В темноте было уютно.

Спокойно.

Только бабочки порхали, те самые — королевские. Они подлетали к самому Себастьянову носу, стряхивая с крыльев золотистую пыльцу. И Себастьян замирал от ужаса: а вдруг да именно этот приворот сработает должным образом?

И как жить?

Он отмахивался от бабочек и от пыльцы, но та липла к волосам, и голова Себастьянова становилась невыносимо тяжелой.

— Дуся, ты что?! — сказала бабочка тоненьким голоском.

И вправду — что?

За что?!

Ладно бы, не умел Себастьян целоваться. Так ведь он старался, весь опыт свой немалый вложил... а его канделябром.

— Я — ничего. А он...

Бабочка, говорившая голосом Евдокии Ясноокой, девицы купеческого сословия, села на раскрытую ладонь и грозно пошевелила развесистыми усиками.

— Что он?

— Целоваться полез! — пожаловалась Евдокия.

— И ты его канделябром?

— И я его канделябром. — Она произнесла это как-то обреченно.

— А меня позвала...

— ...чтобы труп помогла спрятать. — Теперь голос был мрачен.

Себастьян хотел было сказать, что он вовсе не труп; но первая бабочка, с перламутровыми крыльями, его опередила.

— Дуся, он жив, — сказала она с укоризной.

— Тогда добить, а труп — спрятать.

Решительности купеческой дочери было не занимать. Но Себастьяну категорически не нравилось направление ее мыслей.

— Это не смешно...

Совершенно не смешно.

— Не смешно... куда уж не смешнее... Лихо приходил, и... и что он обо мне подумает?

Лихо? Проклятие, про братца, обладавшего воистину удивительным умением появляться не вовремя, Себастьян как-то запомнил.

...задание...

...Аврелий Яковлевич предупреждал, но...

...Лихо всегда слишком серьезно относился к женщинам, а тут... вспомнит и Христину... и следует признать, что первый удар канделябром Себастьян заслужил...

С этой мыслью он вернулся в сознание, аккуратно затем, чтобы ощутить весьма болезненный пинок под ребра.

— Дуся, что ты творишь?!

Евдокия не ответила, а Себастьян, не открывая глаз, испустил громкий стон. Он очень надеялся, что стон этот был в должной мере жалобным, чтобы огрубевшее женское сердце прониклось сочувствием к раненому...

— Я творю? Это он...

— Вы мне выбора не оставили, — произнес Себастьян.

Он лежал на спине, и ноги вытянул, и руки на груди сложил демонстративно, всем видом своим показывая, сколь близок был к смерти.

И веки смежил.

— Я не оставила?!

— Тише... умоляю... очень голова болит...

...голова у него болит, видишь ли... да, не по голове бить следовало, тогда, глядишь, болело бы именно то место, которым он думал, когда к Евдокии полез.

Помогла, на свою беду...

В том коридоре Евдокия оказалась совершенно случайно.

Она бродила.

И думала.

Ей всегда легче думалось на ходу, особенно когда мысли касались именно ее, Евдокии... ну и еще Аленки, которая за ужином была задумчива, тиха и напрочь отказалась говорить, что происходит.

А Евдокия не дура.

...есть зеркала, отражения, которые ведут себя вовсе не так, как полагается нормальным отражениям. Собственные, Евдокии, шли за нею, не таясь, тянули длинные шеи.

...пахло горелым.

...и еще камнем. И запах этот тягучий, едкий, вызывающий к жизни воспоминания об угольных шахтах, об узких норах, прогрызенных в теле горы людьми, привязывался к Евдокии.

Она льнула к обоям, которые были новыми и дорогими, силясь ощутить правильные ароматы: бумаги, краски и клея, но вновь вдыхала каменную пыль. Гранитом пахли стеклянные вазы, углем — цветы и ковровые дорожки. Евдокия, уже не заботясь о том, как это будет смотреться, ежели кто-либо застигнет ее за престранным занятием, присела, коснулась высокого ворса.

Почти живой.

А от Аленки только и добиться можно, что еще не время.

И верить надо.

Евдокия верила, вот только чуяла близкую опасность, как в тот раз, когда они с маменькой едва под обвал не угодили. И ведь тогда-то управляющий твердил, что, дескать, нет угрозы, что шахта пусть и старая, но досмотренная, что леса свежие, крепкие, а газ дурной отводят регулярно...

...а Евдокия чуяла — врет.

И слышала, как тяжело, медленно, но совершенно по-человечески вздыхает гора. Боясь опоздать, она схватила маменьку и бегом бросилась к выходу.

Успела.

А управляющий остался внизу, верно, это было справедливо.

Но сейчас не о горах думалось.

О доме. И Аленкином упрямстве. И о том, что, если и захочет Евдокия уйти, ей не позволят. Поздно... и розовые шипастые кусты тянулись к окнам, затягивали их живой решеткой.

...еще Лихослав, который приходит на закате, а уходит на рассвете. И больше о свадьбе не заговаривает, и не то чтобы Евдокии так уж в храм хотелось...

...было кольцо, сидело на пальце прочно, так, что захочешь — не снимешь.

И все-таки...

...хотелось странного, наверное, место виновато было, но вот... чтобы не сделка взаимовыгодная, где титул на деньги меняется, а чтобы любовь.

Влюбленность.

Сердце ныло, растревоженное не то прошлым, не то настоящим. И лгать-то себе Евдокия непривычная. Нравится ей Лихо...

Лихо-волкодлак...

...пускай себе волкодлак... и вдоль хребта уже проклюнулась жесткая прямая щетина,

будто гривка... и глаза у него в темноте с прозеленью... а на свету глянешь — человеческие.

Улыбается хорошо.

А как шепчет на ухо имя ее, то и вовсе тает Евдокия. Стыдно ей и счастливо, и, наверное, сколь бы ни продлилось это самое счастье, все ее — Евдокиино.

Об этом она думала, когда резко, едва не ударив Евдокию по носу, распахнулась дверь, выпуская Тиану Белопольску... или того, кто ею притворился...

— Что вы на меня так смотрите, будто примеряетесь, как сподручней добить, — поинтересовался ненаследный князь, приоткрыв левый глаз.

Глаз был черным, наглым и без тени раскаяния, из-за чего высказанная Себастьяном мысль показалась Евдокии весьма здравой.

Добить.

Вытащить в сад и прикопать меж розовыми кустами.

— Между прочим, — замолкать это недоразумение не собиралось, — вы меня шантажировали!

— Дуся!

Аленка уставилась на Евдокию с укоризной. Конечно, как у нее совести-то хватило шантажировать самого старшего актора.

А вот обыкновенно.

Хватило.

И Евдокия если о чем и жалеет, так о том, что сразу его по голове не огрела. Следовало бы.

Огреть. Привязать, а там уже и допрашивать.

— Шантажировала. — Почувств в Аленке сочувствие, Себастьян Вевельский открыл и второй глаз и томно ресницами взмахнул.

Ручку смуглую приподнял, к голове прижал, будто бы болит...

...болит.

И правильно, что болит, и не надо было Аленку звать, но Евдокия испугалась, что и вправду прибила ненароком это недоразумение в панталонах. А что, рука-то у нее маменькина, тяжелая.

— Вы лежите, лежите. — Аленка села на пол и ладони на макушку смуглую возложила с видом таким, что Евдокия едва не усовестилась. — Больно?

— Очень, — сказал этот фигляр, голову задирая так, чтобы Аленке в глаза заглянуть. — Просто невыносимо...

— Дуся!

— Что «Дуся»? Дуся желает знать, как давно это... — она пальцем ткнула, чтобы не осталось сомнений, о ком речь идет, — за вами... за нами подглядывало?

Аленка, верно вспомнив первый вечер в Цветочном павильоне, зарделась, но рук не убрала. И Евдокия мрачно подумала, что бить-таки следовало сильнеей.

— Я не подглядывал, — поспешил оправдаться Себастьян, болезненно кривясь, точно сама необходимость разговаривать с Евдокией причиняла ему немалые мучения. — Я наблюдал.

— Принципиальное различие.

— Дуся!

— Ваша сестрица меня ненавидит! — пожаловался Себастьян, поджимая губы...

...ишь, развалился.

— Дуся, — Аленкины брови сдвинулись над переносицей; и, таки оторвавшись от пациента, которого, судя по Аленкиному виду, она готова была лечить хоть всю ночь напролет, и желательно не в Евдокииных покоях, она встала, — Дуся, это же...

Себастьян Вевельский с готовностью закрыл глаза, показывая, что подслушивать не намеревается и, вообще, находится если не при смерти, то всяко в глубоком обмороке.

— Дуся... — Аленка взяла сестрицу под руку и зашептала: — Я понимаю, что получилось нехорошо и ты на него обижаешься... но это же живая легенда!

— К сожалению...

— К сожалению, легенда? — Себастьян таки не удержался и приоткрыл глаз, на сей раз правый.

— К сожалению, живая, — поправила Евдокия и, погладив верный канделябр, добавила: — Пока еще.

— А теперь она мне угрожает!

Боги милосердные, какие мы нежные. А вот хвост из-под ноги правильно убрал, и не то чтобы Евдокия собиралась наступить, но пусть конечности свои, включая хвост, при себе держит.

Евдокия руки от канделябра убрала и, выдохнув, велела:

— А теперь рассказывайте.

— Что? — в один голос поинтересовались Аленка и Себастьян.

— Все.

— Все — будет долго... — Себастьян вытянул дрожащую руку и, указав на кровать, попросил: — Подай простыночку прикрыться, а то неудобно как-то.

Покрывало Евдокия сдернула.

— Дусенька... — Аленка присела на стул у двери и еще руки на коленках сложила, — потерпи...

— Хватит. Я уже натерпелась.

...и Лихо, который заглянул, хотя еще и не вечер...

Появился и исчез.

Уступил.

Бросил? А кольцо тогда почему? И Евдокия трогает его, пытаюсь успокоиться, только получается не слишком хорошо.

— Или меня вводят-таки в курс дела, или мы уезжаем. Сегодня же. Немедля.

Аленка сложила руки на груди, демонстрируя, что с места не сдвинется. Упряма? Пускай. В Евдокии упряма не меньше.

— Я тотчас телеграфирую маменьке. Полагаю, она меня поддержит. Да и не только она. О нем я тоже молчать не собираюсь. Этот фарс, который конкурсом называют, завтра же закроют. И не надо мне про тюрьму говорить. Тюрьмы я не боюсь.

— Она не всегда такая... — словно извиняясь, произнесла Аленка. — Злится просто...

— И колбасу прячет. — Себастьян сел, завернувшись в покрывало. — Под кроватью... ага...

...коробку он вытащил и, прильнув щекой к крышке, зажмурился.

— Краковельская... чесночная... благодать... к слову, панночка Евдокия, как бы вы ни пыжились...

— Я не пыжусь!

— ...на мне клятва крови, так что...

И этот наглец, вытянув колечко краковельской колбасы, к слову, великолепнейшей, сдобренной чесноком и тмином, высушенной до звонкости, сказал:

— Моя прелес-с-сть...

Евдокия перевела взгляд на Аленку. Та клятв крови не давала...

— Дуся, пока ты о нем не знаешь, оно тебя не видит, а раз не видит, то и навредить неспособно.

— Тогда считай, что оно, чем бы ни было, меня разглядело.

— Но...

Аленка повернулась к зеркалу и, коснувшись его ладонью, нахмурилась:

— Ты... не говорила...

— И ты не говорила. — Оправдываться Евдокия не собиралась.

Единственное, о чем она жалела, так о собственной нерешительности. Следовало сразу покинуть сей милый дом...

— Уйти не получится. — Себастьян разломил колбасное кольцо на две неравные половины, меньшую зажал в правой руке, большую — в левой. — Точнее, попытаться можете, но за последствия я не ручаюсь. Вас, панночка, пометили... и вас, к слову, тоже.

Он откусил колбасу и уже с набитым ртом добавил:

— И меня... всех пометили, Хельм их задери.

И замолчал, сосредоточенно пережевывая колбасу.

Следовало сказать, что в покрывале, расшитом цветочками, из-под которого выглядывали длинные мосластые ноги и хвост, тоже длинный, но отнюдь не мосластый, ненаследный князь выглядел... безопасно. Он жевал колбасу, вздыхая от удовольствия, и блаженно жмурился...

Надо полагать, раны на голове затянулись.

Аленка наблюдала за своей легендой с престранным выражением лица.

Куда только прежнее восхищение подевалось?

— Так что, милые дамы, вам от меня никуда. — Жирные пальцы Себастьян вытер о покрывало, и Евдокия с трудом сдержалась, чтобы не отвесить подзатыльника. Князь, называется!

Князь понюхал оставшийся кусок, но со вздохом отложил.

— Хорошо. — Евдокия покосилась на канделябр. — В таком случае предлагаю перемирие. И обмен информацией. Взаимовыгодный...

— А водички нальешь? — поинтересовался Себастьян, голову набок свесив. — Колбаска соленая очень...

Пил он шумно, отфыркиваясь, и вода текла по голой груди, поросшей кучерявым черным волосом. И вида этой самой груди Аленка стеснялась, отворачивалась...

...похоже, первая любовь ее, бережно возвращенная на газетных славословиях и снимках, умирала.

Громко срыгнув, Себастьян вытер рот краем покрывала и поднялся.

— Итак, девушки, я внимательно вас слушаю...

...от же гад.

Слушает он.

Но с некоторым удивлением Евдокия поняла, что и вправду слушает. Внимательно так. И уже не выглядит ни смешным, ни жалким...

...Аленка же говорит...

...о том, что дом живой, что строили его по старому обычаю, на костях. И кости эти сроднились со стенами...

...о зеркалах, в которых потерялись души. Их заперли на изнанке зеркального лабиринта, лишив воли и посмертия, оставив лишь голоса, которые Аленка слышит...

...о снах разноцветных, где ей показывают дом...

...и о черном камне, ради которого все затевалось. Камень — драгоценность, а дом — шкатулка, построенная драгоценность хранить. Не здесь, но на изнанке мира. Аленка пока не умеет объяснить иначе. Но ждать уже недолго. Та, которая построила тайник, вернулась.

— Ее ты видела? — Себастьян прервал рассказ.

И, поймав на себе взгляд Евдокии, слегка пожал плечами, будто извинялся...

Извинялся.

Не за поцелуй, а за представление.

Живая легенда? В том и дело, что скорее живая, чем легенда. И приходится соответствовать... или не соответствовать, разрушая чужие иллюзии.

— Нет, — ответила Аленка, задумавшись. И тут же, сама себе противореча, сказала: — Да. Она меняет лица. Она... она забрала чужие... использует, а потом меняет...

В отличие от ненаследного князя, который кивнул, Евдокия ничего не поняла, а переспрашивать не стала.

— Луна растет. — Аленка посмотрела в окно.

Вечерело.

И лиловые сумерки держались за колючей границей роз, точно опасаясь приближаться к окну. Небо отливало то золотом, то багрянцем; и тревожно становилось на душе.

Беспричинная тревога.

— И дом пробуждается... у нее сил не хватает, чтобы сразу его разбудить... луна нужна.

Полная.

Круглая, налитая, как яблоко из маменькиного сада. На такую воют оборотни, а волкодлаки и вовсе теряют разум... Лихо не опасен, будь опасен — не выпустили бы с Серых земель...

Евдокия не наивна.

Евдокия слышала о людях, которые переставали людьми быть. Но боялась — не его, но за него, растревоженного... что подумал?

Известно что...

И ушел... как бросил... обидно и страшно оттого, что не вернется... а если вернется, то каким?

...луна показалась, выглянула, белая монета с полустертой золотой каймой, будто бы надкушенная с одного бока. Но рана зарастает, прибывая день ото дня...

— Будет луна, и будет сила... — Аленка замолчала, устремив взгляд в окно.

Тоже видела?

Чуяла?

А говорили, что будто бы у сестрицы сил мало, что едва-едва хватит их раны затянуть... а она слышит вот... и сама не понимает, откуда у нее это взялось.

Отцовская кровь очнулась?

Или же, напротив, материнская? От той прапрабабки, про которую говорили, будто бы она — прирожденная колдовка? И впору бояться родной сестры...

...близких.

Двое, и обоих Евдокия любит. Она-то человек обыкновенный и мало на что в колдовском мире годный, только и может, что богам молиться. Пусть заслонят. Сберегут. Силами наделят, потому как иначе... что бы ни обреталось в зеркалах сторожем клятых душ, оно выберется...

— Панночка Алена. — Себастьян поднял недоеденный кусок колбасы и кое-как отер о покрывало. И вид себе вернул прежний, слегка придурковатый. Аленку взял за ручку жирными пальцами, срыгнул сыто, отчего бедную аж передернуло, и к ручке припал.

Обслюнявил всю знатно.

— Вернитесь к себе. И ведите себя как прежде...

...Аленка ручку выдернула и торопливо за спину спрятала. А ведь колбасу краковельскую она на дух не переносит из-за чесночного ее запаха.

— А... вы?

— И я вернусь. От доем и вернусь. — Он еще и грудь волосатую почесал, сказав доверительно: — Вы не представляете, до чего мне жрать охота...

У двери Аленка тайком понюхала пальчики и скривилась-таки...

...чесночный дух — привязчивый.

Но ушла, унося осколки разбитых мечтаний.

— Евдокиюшка... — Себастьян перекинул покрывало через плечо и снова грудь поскреб, — а с вами...

— Со мной можете комедию не ломать. Влюбляться в вас я не собираюсь.

— Даже так...

Взглянул пристально, и неуютно стало под этим колючим, лишенным всяческого дружелюбия взглядом. Еще немного — и наизнанку вывернет...

— Как уж есть, — ответила Евдокия, заставляя себя глядеть в глаза. И улыбаться.

Как маменька учила...

— А вы подумайте...

— Уже подумала.

— Я могу быть очаровательным... и очень милым... мы с вами чудесно проведем этот вечер...

Рука сама собой к канделябру потянулась. Себастьян хмыкнул и, пощупав затылок, Аленкиными стараниями целый, сказал:

— Ладно-ладно... с Лихо я сам поговорю... — он взобрался на подоконник, — а вам, панночка Евдокия, нервы лечить надобно... вы слишком остро на все реагируете.

Вот поганец!

Глаза б Евдокиины его не видели...

— И платье свое забирай! — крикнула она, швырнув мятый комок в темноту...

...Гавел ничуть не удивился, увидев ненаследного князя. Тот, выбравшись из окна, весьма бодро и, по мнению Гавела, несколько необдуманно сиганул в кусты роз.

Сорт «Белая панночка» отличался крупными бутонами бледно-золотистого колеру и шипами исключительной длины. Сам Гавел уже успел свести с оной панной знакомство, а потому сдавленную, но весьма выразительную, можно сказать, наполненную яркими образами ругань князя слушал с сочувствием.

— И платье свое забирай! — донеслось из окошка, и на голову Гавела свалился надушенный мягкий ком, надо полагать — то самое платье...

Гавел платье скомкал еще более и спрятал в сумку: вещественным доказательством будет.

Или пойдет на платочки старухе, а то не напасешься...

...соседка снова жаловалась...

...требовала, чтобы Гавел из своей командировки вернулся... а он, слушая в телефонный рожок возмущенное бормотание, лишь вздыхал...

...пришлось злотень сверху пообещать...

...и наверняка мало будет...

...но последний месяц судьба к Гавелу была благосклонна весьма, и банковский счет его потихоньку прирастал. Если бы не старуха, этих денег Гавелу хватило бы года на два, и не в той камере. А что, снял бы квартиру в приличном доходном доме, пускай и небольшую, но чистенькую... и нанял бы кого убираться дважды в неделю. Купил бы себе белую фильдекосовую рубашку, а к ней — желтый галстук... и пиджак фиолетовый, бархатный, с хлястиком на черных пуговичках...

Тросточку опять же.

И в дни выходные гулял бы в королевском парке, как иные приличные люди...

Гавел вздохнул, сам себе признаваясь, что мечты его эти, пусть и не особо сложные, все ж несбыточны. От старухи ему не избавиться, так что и тросточка, и пиджак, и рубашка остались в памяти, а Гавел сделал снимок...

Меж тем Себастьян Вевельский из кустов вырвался и, сплюнув погрызенный лист «Белой панночки», потянулся. На сей раз князь был не совсем обнажен. И если Гавелу досталось платье, то себе Себастьян оставил женские преочаровательного вида панталончики, с кружевами и атласными бантиками...

...он потянулся и поскреб плечо, на котором проступила жесткая черепица чешуи.

А потом легкой походкой двинулся по дорожке. Таиться ненаследный князь и не думал, он шел не спеша, то и дело останавливаясь, поводил носом, точно принюхивался, и что-то бормотал...

Гавел держался в отдалении...

...а если все не так, как Гавелу виделось?

Если не в изменившихся пристрастиях его дело, а в том, что не выдержал Себастьян Вевельский тяжелой актерской работы? Разумом подвинулся?

Гавел нахмурился и почесал шею: его, в отличие от ненаследного князя, комарье окрестное, лишенное всякого пиетета перед королевскими владениями, очень даже жаловало.

...а и вправду...

Князь все же...

...и работа у него мало лучше Гавеловой... вспомнить хотя бы те месяцы, которые князь в банде Соловейчика пробыл... или дело с крестовецким маньяком, неделю Себастьяна на цепи продержавшим... тогда ли он разумом подвинулся?

...или еще раньше?

Ах, до чего нехорошо получилось...

Себастьян Вевельский, остановившись у очередного куста, опустился на четвереньки. Нюхал он траву, и землю, и фонарный столб, который повадились метить местные кобели. Именно этот столб ненаследный князь изучал с особым тщанием.

— До чего интересненько, — сказал он громко, окончательно убеждая Гавела в своей

ненормальности.

...а если так, то и с ведьмаком, выходит, не все ладно?

Гавел похолодел.

Конечно, слухи-то давно ходили, дескать, разменял Аврелий Яковлевич не первую сотню лет... иные-то старики и на седьмом десятке блажить начинают. Но ведьмак-то крепким оказался, держался... не выдержал... или княжеское безумие на него повлияло?

А может, в тот, самый первый, раз стал Гавел свидетелем некоего таинственного ритуала?

Или не свидетелем, а...

Помешал?

Он ведь слышал, что ритуалы ведьмаковские лишних глаз не терпят, а он с камерой полез... и статейка та, за которую ныне корил себя, да только что с тех угрызений совести...

Меж тем Себастьян, окончательно освоившись, двинулся в глубь парка, туда, где располагался зеленый лабиринт, в который Гавел и днем-то соваться не смел, уж больно замысловатым сей лабиринт сделали...

И как быть?

Стражу вызвать, чтобы скрутили безумца?

Гавел, потянувшийся было к свистку, в последнюю секунду передумал. Навряд ли безумца вовсе без присмотра оставили бы, а значит, надобно ждать.

И держаться поближе.

Снимок ненаследного князя в панталонах и с розанчиком в руке получился чудо до чего хорош...

Глава 3

О серьезных разговорах, а также влиянии алкоголя и фазы луны на мужские нервы

Наша служба и опасна, и трудна...

Негласный гимн крысятников

Лихослав обнаружился в центре лабиринта, у фонтана, в который залез, что характерно, с ногами. Он склонил голову, и пухлая мраморная девица в весьма символическом облачении, не скрывавшем пышных ее форм, поливала эту самую голову водой. Вода лилась из кувшина, который девица возложила на плечо, кокетливо придерживая двумя пальчиками. И Себастьян, прикинув устойчивость конструкции и вес этого самого кувшина, испытал некоторое волнение.

Все-таки Лихо он любил.

По-своему.

С прочими-то братьями не заладилось. Не то чтобы враждовали, скорее уж были они чужими, неинтересными людьми, по некоторой прихоти связанными с Себастьяном иллюзорными узами родства. Лихо — дело другое...

И совесть, большую часть Себастьяновой жизни дремавшая, вдруг ото сна очнулась.

— Страдаешь? — поинтересовался Себастьян.

— На хрен иди...

— Страдаешь. — Он присел на край фонтана и, зачерпнув воды, понюхал. Пахла ряской, судя по всему фонтан если и чистили, то давно, и стенки массивных чаш изнутри успели покрыться пышной шубой ила. На водяной глади расплзлось кружевное покрывало ряски, а пухлые ноги красавицы с кувшином позеленели и покрылись едва заметными трещинами.

Выбравшись из фонтана, Лихослав подобрал мундир, который валялся на траве, и попытался надеть прямо на мокрую рубаху, но в рукава не попал.

— Иди ты...

— И нажраться успел...

— Тебя не спросил.

— Это точно, не спросил... а спросил бы, я б ответил, что и тебе нервы лечить надобно...

Он успел поймать Лихо за шиворот.

— Стой, кому сказано! Не было ничего.

— Без тебя знаю.

Стоял Лихо неуверенно, покачиваясь, но... было в движениях этих его, пусть и пьяных, что-то неправильное.

Нечеловеческое.

И лицо переменилось. Скулы стали острее, переносица — шире, а из-под верхней губы клыки проглядывали... и глаза так характерно желтизной отливали.

— Что, не нравлюсь? — Лихо оскалился.

Голос и тот переменился, ниже стал, глуше, с характерными рычащими нотами.

— Дурень, — ласково произнес Себастьян, но руку убрал.

— От дурня слышу. — Лихо потер переносицу, явно пытаюсь успокоиться.

— Оттуда... подарочек?

— Откуда еще.

— Кто знает?

— Здесь или...

— Здесь. — Мир в целом мало Себастьяна волновал. А вот Познаньск — местечко такое, чуть расслабишься, мигом слухи прорастут, один другого краше.

— Генерал-губернатор... ведьмак твой...

— Он не мой, он общественный.

— Ведьмак общественный, — куда более спокойным голосом повторил Лихослав, — Евдокия... теперь вот и ты.

— Я, значит, последним. — Себастьян подвинулся; и братец, махнув рукой, будто бы разом для себя приняв решение, присел рядом. — Что Старик говорит?

— Да... известно что. Кровь себя проявлять будет, чем луна полней, тем сильнее... сам я не перекинусь точно, а потому опасности для людей нету... — Лихослав поскреб щеку, поросшую плотной жесткой щетиной. — Бриться устал... только соскребу, а она опять... и ладно бы бородою росла, отпустил бы, и леший с нею, так нет же... щетина. Колется...

Он вздохнул и поднял голову, уставившись пустым немигающим взглядом на кругляш луны.

— Сказал еще, что я везучий... что если б не навья кровь, проклятие убило бы...

Клятое везение, вывернутое.

И злость разбирает, хоть и не на кого злиться.

— Пил зачем?

— Затем...

— Послушай. — Себастьян вытащил из волос веточку, раздумывая, что бы такого сказать. Извиняться он не любил и, говоря по правде, не умел. — Я... наверное, был не прав...

— Когда?

— Тогда... и сейчас тоже, но сейчас... — Он сунул пальцы в волосы, нащупывая припухлость. Благодаря умелым рукам эльфиечки боль отступила, но шишка осталась. — Сейчас меня вынудили! Она меня шантажировала...

Лихослав хмыкнул.

— Револьвером угрожала...

— Еще скажи, что изнасиловать пыталась. — Братец сунул руку под воду. Тонкая пленка ее покрыла и широкую ладонь, и пальцы, которые будто бы стали короче, и широкие длинные когти.

— Не пыталась. Это я... предпринял меры... а она меня канделябром. Дважды.

— И как?

— Хреново...

— В смысле помогло?

Удивленным Лихослав не выглядел.

Успокоившимся тоже.

И на луну по-прежнему смотрел, на сей раз, правда, в фонтане отраженную. Луна эта то и дело шла рябью, почти исчезала, будто тонула, но все одно появлялась снова и снова.

— Смотря от чего. Больше я к ней точно не полезу, если ты это хотел знать.

Кивок.

И пожатие плечами. Хотел, но сам не заговорил бы. Упрямая дурь — семейная черта. И пожалуй, сказано все, что должно было быть сказано, только на сердце спокойней не стало.

— Знаешь, — очень серьезным тоном произнес Лихослав, все-таки оторвавшись от созерцания луны-утопленницы, — наш полковой целитель всем касторку прописывал. Не важно, болотная лихорадка, понос или ветру в уши надуло... касторка, говорил, от всего помогает. А если нет, то надобно продолжать терапию и верить...

— Ты это к чему?

— К тому, что если ты еще раз к моей невесте сунешься, я тебе горло перерву.

Белые клыки блеснули в лунном свете.

— Лихо...

— Я не шучу, братец, поверь.

Он встал и отряхнулся, с длинных волос полетели брызги.

— Я ушел... не потому, что отступил, а... чтобы не убить тебя. Испугался, что... не сумею удержаться... выпил...

— То есть набрался ты раньше?

— Встретил одного знакомого... надо было кое о ком расспросить... о сослуживце его давнем. Старая уже история, одиннадцать лет тому. А сам понимаешь, — волосы он отжимал, накрутив на кулак, — на трезвую голову никто говорить не станет.

— Помощь нужна?

— Нет, — сказал резко, зло. — Не устраивай снова за меня мою жизнь.

— Не буду. Клянусь своим хвостом.

Лихо хмыкнул, но как-то... не зло. И Себастьян, решившись, спросил:

— Еще злишься? Ну... за то... за прежнее.

— За Христину?

Переспрашивает, можно подумать, что Себастьян его не от одной когорты невест избавил. Но ответил и в глаза посмотрел, удивляясь тому, что гаснет в них волкодлачья наведенная зелень. Почти прежними становятся, синими.

— За нее.

— Не злюсь. — Лихослав потер переносицу. — Было... нехорошо было.

Это верно.

Нехорошо. А тогда казалось — идеальный вариант.

— Я и вправду хотел тебе помочь. — Себастьян поежился: хоть и лето на дворе, а по ночам все одно прохладно, и от воды еще тянет. — Я ж видел распрекрасно, что ты ей не нужен... титул — это да... а ты — так... договорной брак.

— А ты, стало быть, нужен?

— Нет. И я не нужен. Разве что приключением... нервы пощекотать... экзотика... я для всех них экзотика... а если не я, то другое приключение найдут. Было бы желание. У нее — было.

— Мог бы просто сказать, — проворчал Лихослав.

— Мог бы... наверное... а ты бы услышал?

— Не знаю.

Вряд ли, Себастьяну ли не знать, сколь беспощадна к здравому смыслу первая любовь. И Лихослав понял.

— Я не могу вспомнить ее лица, — признался он. — Волосы светлые были... и еще над губой родинка. Справа? Или слева? А больше ничего... даже цвет глаз.

И, наверное, в этом был смысл.

Вспомнилась вдруг Малгожата, но не лицо, а роскошный бюст, который сделал ей в общем-то неплохую партию... Себастьян узнавал.

Из любопытства.

— Я вот думаю, что было бы, если бы не ты.

— Ничего, наверное. Она и до свадьбы не дотерпела, а уж потом...

...ни особого ума, ни красоты... и уже тогда было непонятно, что Лихо нашел в этой девице с узкими губами и странной манерой шепелявить, не потому, что Христина не могла иначе... могла, но не хотела. Она играла в маленькую девочку.

Банты, куклы, чулочки...

И огромные глаза, которые смотрели на Лихо с обожанием. Правда, лишь до того момента, когда Лихо смотрел в эти самые глаза. А стоило ему отвернуться, и обожание сменялось скукой.

Расчетом.

— И был бы ты сейчас женат, рогат и глубоко несчастен, — подвел итог Себастьян.

Братец фыркнул...

Дальше сидели молча. Себастьян думал о зеркалах и призраках... полнолунии, до которого осталась неделя... колдовке, способной лица менять...

...одержимой Богуславе.

...Иоланте, замершей на пороге лабиринта.

...панне Клементине, которая слишком откровенно не замечала странностей Цветочного павильона, а значит, напрямую была с этими странностями связана.

...о королевиче...

...Ядзите, метках... обо всем и сразу, уже отдавая себе отчет, что история эта слишком запутана, чтобы сводить ее лишь к Хольму...

— Мать. — Себастьян поймал мысль, которая не давала ему покоя.

— Что?

— Я знаю, кто ее отец, но не мать...

— Чья мать? — поинтересовался Лихо, выныривая из фонтана.

— Решил все-таки утопнуть от несчастной любви?

— Решил все-таки протрезветь. — Он стер длинную нить водоросли, прилипшую к щеке. — Так чья мать-то?

— Панна Клементины. Ты знаешь, кто был ее матерью?

Лихослав задумался, впрочем, на него надежда была слабой, он никогда-то особо не интересовался ни двором, ни любовными его историями, каковые приключались в великом множестве.

— Понятия не имею, — вынужден был признать Лихослав. — Тебе зачем?

— Надо...

...еще одна деталь чужой мозаики, и Себастьян хвостом чувствовал, что деталь важная...

...и что спрашивать надобно не у братца, а у Аврелия Яковлевича...

...и про зеркала тоже.

...и не только про Клементину.

— И детские портреты, — решил Себастьян. — Скажи Старику, что мне нужны их ранние портреты. И вообще все, что удастся, о детстве...

Не умея усидеть на месте, Себастьян вскочил. Он прошелся вокруг фонтана, под босыми ступнями ощущая и каменную крошку, и трещины, и острые стебельки травы.

— Он поймет... меняет лица... и если так, то... Габрисия — вариант очевидный, но поэтому и не пойдет. Слишком умна...

— Габрисия?

— Колдовка. Габрисия изменилась поздно, а если готовилась... да, нужны портреты... чем больше, тем лучше... совсем младенческие не подойдут... типаж подбирала схожий... значит, те, на которых постарше... Лихо, с тебя когда писали?

Переспрашивать братец не стал, но сморщил нос, припоминая:

— Три... семь... одиннадцать, тогда, помню, еще мундир напялили.

— Три рано... семь и одиннадцать — хорошо... и скажи Старику, что это — личное. Нет, на Хольм она тоже работает, но все одно первым делом — личное.

Себастьян потрогал шишку, похоже, что пресловутый канделябр очень поспособствовал прояснению в голове.

И очередная идея, пришедшая в эту голову, заставила Себастьяна улыбнуться.

— Лихо... а у тебя мыло есть?

— С собой?

— Ну да...

— Мыла нету, но есть зубная паста...

— С пастой не то, хотя... давай сюда. Слушай, Лихо... а ты ж волкодлак малость. Значит, повить можешь?

— Издеваешься? — Братец поскреб щетинистую щеку.

— Мне для дела...

— Ну... если только для дела.

Гавел наблюдал за лабиринтом со странным, полузабытым почти чувством страха, причем сколь ни силился он, не мог понять, откуда же это чувство взялось.

Луна виновата.

Верно.

Именно она, огромная, отливающая желтизной, будто старым салом натертая... повисла, скособоченная, над самыми маковками елей, того и гляди сорвется, покатится, сминая и эти ели, и кусты, и статуи... и самого Гавела раздавит.

Он судорожно вздохнул и прижал к груди верную камеру.

Вот же... луна... смотрит, насмехается...

...старуха луны боялась, на полную требовала окно завесить, и в комнатухе под крышей становилось темно. Гавела эта темнота не то чтобы пугала — до сегодняшнего вечера он думал, что утратил саму эту способность — страх испытывать, скорее, он задыхался. Чужал, что пыль чердачную, с которой вел давнюю непримиримую борьбу, но проигрывал, что кисловатый запах старушечьего тела, что ароматы ее притираний... он ненавидел их, склянки-скляночки, банки и кувшинчики с узкими горлышками, в которых прятались масла и жиры, как втайне ненавидел саму старуху...

Гавел потер глаза, отгоняя сон.

Болели.

И кишки вновь жаром налились, а ведь будто бы отступила болезнь на спокойной местной работе... может, кинуть старуху? Просто уйти, сменить имя, раствориться на просторах королевства... устроиться в парк ночным сторожем... тихая жизнь... глядишь, и сладится как-нибудь.

Гавел вздохнул.

Сколько уж раз он мысленно сбегал от старухи? Неисчислимо. На деле же всякий раз что-то да останавливало. Любовь? Да нет, смешно думать... она-то всегда его ненавидела, попрекала, будто бы самым своим рождением. Гавел всю ее жизнь искорежил. Совесть? Чушь. Какая у него — крысятника — совесть? Давно уже избавился от нее... и от порядочности... и от прочих реликтов человеческой природы...

Вздохнул и вновь глаза потер, в которых луна уже двоилась.

Ярче будто бы стала.

И ниже опустилась.

Блажь... а князя все нет и нет... пойти в лабиринт? Мало ли, вдруг заблудился, потерялся... он же ж не в себе, и оттого Гавелу волнительно... и он сделал первый робкий шаг к крылатым львам, что лежали у входа в лабиринт. Каменные звери в лунном свете выглядели до отвращения живыми.

Скалились.

— Кыш, — шепотом произнес Гавел и, вытянув шею, прислушался.

Тишина...

...кузнечики в траве стрекочут. И где-то тоскливо кричит козодой...

...ветром по спине мазнуло...

Глупо соваться... лабиринт огромный... и как в нем князя искать-то?

...и зачем?

Мало ли... безумцы всякими бывают... Гавелу ли не знать... он ведь делал репортаж о сувалковской отравительнице, которая себя ведьмою возомнила... и в богадельне бывал частенько... видел иных ее обитателей, с виду тихих, печальных даже, выглядевших случайными гостями в странном сем месте. Но это с незнания...

...и душегубы.

...и те, кто полагает себя одержимыми...

...детоубийцы, насильники...

Страшно.

С чего Гавел решил, будто бы князь не из таких? Знакомец? Но безумие выворачивает человека, выпуская на волю демонов, которые у каждого имеются...

Гавел решительно тряхнул головой и в лабиринт шагнул. Сторожевой амулетик развеивал темноту, но все же...

...жуткое место.

Кусты стрижены ровно, гладко... но все умудряются цепляться за рукава Гавеловой куртки. А он идет, прислушиваясь что к собственным шагам, что к шорохам, которых в лабиринте множество. И кажется, что кто-то крадется по Гавеловому следу.

Остановился.

Оглянулся... никого.

Темнота и поворот... и очередная статуя призраком белеет под аркой...

И снова дыхание, близкое, чужое, почти в волосы... тень мелькнула, потревожив кусты. Да и то, была ли?

Примерешилось.

Назад надобно, но... куда?

Дорожки идут, разбегаются, путаются, и стены из кустов на диво прочны... в пору самому на помощь звать, но стыдно... сторож, а испугался...

Гавел присел на лавочке, которых в лабиринте имелся не один десяток. И все-то в местах романтических, живописных... эту вот оплетал одичавший шиповник, надо полагать, оставленный исключительно потому, что видом своим вносил толику хаоса в это излишне упорядоченное пространство.

Шиповник Гавел снял.

Хорошо гляделась колючая ветка, вытянувшаяся по ковanej спинке скамьи. И на металле роса гляделась испариной...

Красиво.

...за стеной кустарника, которая сразу показалась не такой уж плотной и надежной, раздался тоскливый вой.

И Гавел замер.

Сердце его застучало быстро, слишком уж громко; и он прижал ладонь к груди, мысленно уговаривая себя успокоиться.

Вой.

Подумаешь, вой... вон в Смоляницкой богадельне блаженные придумали не просто выть, а хором. И доктора сочли сие действо зело полезным и душеспасительным; нашелся даже охотник, который сумел обучить хор достославному «Вотан, храни короля!». Нумер пользовался большим успехом у окрестных сердобольных панных, а также люда любопытствующего, который платил по медню за билетик. На вырученные деньги хористам покупали яблоки, пряники и петушков. Все были довольны...

Гавел успокоился.

Почти.

И, вцепившись в камеру, решительно сунулся в кусты. Ветки переплелись плотно, кололись; но Гавел продирался, боясь лишь одного: не успеет.

Успел.

Едва не выпал на травку... надо же, к самому центру лабиринта добрался, сам того не заметив. Здесь было светло. Лоснилась низкая луна, лила белесый свет на фонтан о двух чашах и дебелую мраморную девку с кувшином.

Журчала водица, а на самом краю чаши устроился ненаследный князь. Он сидел, растопырив колени, выгнув спину горбом, и шею тянул. Черные волосы растрепались, легли покрывалом на острые плечи. Хвост обвил девкину ногу... князь же, выдохнув, вновь задрал голову к луне и испустил душераздирающий вой...

Гавел успел сделать два снимка, когда Себастьян вдруг прервался и, покачнувшись, упал...

...к счастью, не в фонтан.

Страшная судорога скрутила тело князя.

И Гавел потянулся к свистку... но не тронул. Ненаследный князь, бившийся в траве, замер... умер?

Лежит.

Ноги вытянул.

Руки тоже вытянул вдоль тела... и панталончики разодрались... нехорошо, если его вот

так найдут, мертвого и в панталончиках... несерьезно это...

И Гавел выбрался из кустов.

Прислушался.

Тишина. Ну да, кузнечики, козодой и прочие ночные прелести, а вот князь по-прежнему недвижим... и лицо бледное, осунувшееся...

Гавел нерешительно тронул Себастьянову шею в надежде нащупать пульс. Шея была мокрой и скользкой, и волосы темные к ней опять же прилипли.

А вот пульс не прощупывался.

Умер...

...Гавел склонился к самому носу, вдруг да показалось, вдруг да дышит еще... не дышит. И сердце в груди, к которой Гавел, отбросив все предубеждения, прижался, молчало.

Все-таки, выходит, умер...

...а совесть Гавелова ожила, напоминая, что следовало бы сразу охрану вызвать, чтоб сопроводили несчастного до сторожки, а там бы целителя вызвали... и глядишь, не переволновался бы ненаследный князь до сердечного приступа.

Гавел со вздохом осенил покойника Вотановым крестом.

И веки прикрыл, потому как казалось — наблюдает за ним ненаследный князь; и не просто смотрит, а с укоризною, мол, как же ты, Гавел, допустил этокое?

— Я ж не знал. — Гавел шмыгнул носом. — Я...

Взгляд его упал на панталоны, и подумалось, что ежели найдут князя в подобном непотребном виде, то вспоминать станут не его славную службу, а панталоны эти злосчастные...

И Гавел решился.

Он отложил камеру и, присев на корточки, потянулся к панталонам.

— Я осторожно... — пообещал он ненаследному князю, который, как и положено свежему покойнику, был теплым, но неподвижным.

Панталоны не поддавались.

Гавел тянул их и так, и этак, но только бантик оторвал, который сунул в карман исключительно по привычке. Попытался князя перевернуть, однако тело, верно, уже утратило прежнюю подвижность, сделавшись тяжелым, неудобным. Кое-как Гавел перевернул покойника на живот и, взявшись за хвост, приподнял его.

Князь вздрогнул.

И хвост в Гавеловых пальцах крутанулся.

Это потому, что скользкий, чешуйчатый, вот и не удержал...

...дернулась длинная нога. И рука вдруг выпросталась, растопыренная пятерня впилась в траву. Гавел, икнув, смотрел, как удлинняются, загибаясь острыми с виду крючьями, ногти князя... вторая рука, сплошь покрытая чешуей, мазнула по траве, оставив в ней глубокие раны.

Тело приподнялось.

Выгнулось.

Из глотки князя вырвалось утробное рычание, от которого Гавел похолодел.

Он понимал, что надо бы бежать, и чем скорей, тем лучше, однако дикий ужас сковал его, лишив способности двигаться. Гавел дышал.

Смотрел.

...вот тело ненаследного князя зеленеет... дергается... он то падает, то вновь привстает.

...и медленно поворачивается к Гавелу.

В лунном белесом свете видны и заострившиеся черты лица... и темные провалы глаз, из которых исчезло все человеческое, и бескровные губы... и клыки...

— У...уйди... — сказал Гавел, отползая...

Князь уходить не собирался. Он покачнулся, но устоял на четвереньках.

Рот раззявил... не рот, а пасть, украшенную парой длинных и острых с виду клыков...

Тихонько взвизгнув, Гавел упал на спину, и когда нежить — а в том, что князь после смерти обратился в нежить, он не сомневался — села на грудь, закрыл глаза.

...вот и все... конец жизни...

...а старуха-то одна осталась... поймет ли?

Поймет, когда оставленные соседке деньги закончатся... нехорошо... надо было больше...

На лицо падала слюна, белая и пахнувшая отчего-то мятой... наверное, из князя вышла очень чистоплотная нежить... и все приятней, чем если бы мертвечиной воняло... на этой мысли боги все же смилостивились над Гавелом, и он лишился чувств.

В блаженной темноте и умирать не страшно.

Темнота длилась и длилась.

И Гавел поневоле задумался, а вдруг он уже умер? И если так, то... он ведь в храмы не заглядывал... и богам не кланялся, потому как знал, что не для него путь исправления, грешил и грешить будет... и если так, то зачем?

Надо было купить белых голубей Иржене-заступнице... а Вотану — меда свежего... не откупом за грехи, но просто, глядишь, и не блуждала бы истомившаяся Гавелова душа впотьмах.

С другой стороны, не в Хельмовы же чертоги ей торопиться?

— ...нет, дорогой братец, я, конечно, знал, что у тебя шуточки... дурные, но чтоб настолько? — Этот голос разрушил блаженную цельность темноты.

— Да живой он...

— А если бы сердце стало?

— Так не стало же, — возразила нежить голосом ненаследного князя. И Гавел подивился только, до чего нежить хитрая пошла, уже и разговаривать научилась.

Захотелось предупредить того, второго, чтобы бежал, но темнота держала прочно.

— А может, и стало, — задумчиво произнес непредупрежденный человек. — Вон в себя-то не приходит... вдруг удар случился.

— Нехорошо. — Нежить согласилась, она была где-то близко, и Гавел поспешно отступил в темноту, не желая вновь встречаться с нею. — Переборщил немного...

— Немного?!

— Немного! Нет, Лихо, ему меня на все королевство ославить — так можно, а как мне его попугать — нет? Я ж после его статеек вовек не отмоюсь!

Пинки темнота пропускала, и Гавел вдруг четко осознал, что вовсе он не умер, а лежит там же, у фонтана, на мокрой траве в компании вполне себе живого и очень раздраженного ненаследного князя и светловолосого типа смутно знакомой наружности.

Тип был растрепанным и отчего-то мокрым.

— Видишь, живой! — радостно воскликнул Себастьян и, наклонившись, схватил Гавела за рубашку. — Вставай, дружище!

Гавел закрыл глаза, пытаясь притвориться, что все еще скорее мертв, чем жив... с одной

стороны, конечно, радовало, что князь вовсе не нежить, а с другой... бить будет. Это Гавел осознавал ясно, всем своим привычным к подобному повороту дела организмом.

— Вставай, вставай. — Себастьян легонько тряхнул его и просьбу подкрепил пощечиной. — Разговор к тебе имеется... приватный.

Глаза пришлось открыть.

— Вот скажи, — тон был притворно ласковым, — по какой такой надобности ты ко мне в панталоны полез, извращенец?

Такого Гавел от ненаследного князя услышать был не готов. Это он, Гавел, извращенец?! Да... да он нормальный! В женское платье не рядился! И нагишом по королевскому парку не разгуливал! И с ведьмаком в престранные игры не играл...

— Я не извращенец, — прохрипел Гавел, пытаясь вывернуться, но Себастьян Вевельский жертву свою держал крепко.

— Видишь, как дергается? — с чувством глубочайшего удовлетворения произнес он, тыча в Гавела когтем. — Точно извращенец!

Светловолосый, чье лицо Гавел наконец-то узнал, хмыкнул. Лихослав Вевельский заступаться не станет. На это Гавел и не рассчитывал...

— В панталоны полез... стянуть пытался... бантик оторвал и спрятал, фетишист несчастный!

— Я... случайно!

— В жизни нет ничего случайного! — С этими словами Себастьян руку разжал, и Гавел кулем повалился на мокрую, изрядно истоптанную траву. Встал он на корточки, поневоле ожидая удара, а когда не последовало, то на карачках добрался до камеры, сгреб ее и сунул под живот.

Авось уцелеет.

— Успокойся, бить не буду. — Себастьян Вевельский обошел Гавела, став так, что тот увидел длинные босые ноги с длинными же когтистыми пальцами. Пальцы шевелились как-то быстро и нехорошо... — Если договоримся.

Это уточнение Гавелу совершенно не понравилось.

— Ладно, вы тут сами как-нибудь, а я пойду... там, наверное, Ева переживает... Себастьян...

— Да понял я, понял! Иди уже... — Ненаследный князь присел на корточки и поскреб бедро. — У него там Ева переживает. А он тут торчит... с нами... так что, Гавел, договоримся?

— П-попробуем.

— Попробуем... отчего ж не попробовать... а если не договоримся, то я тебя Аврелию Яковлевичу сдам. На опыты.

Обещание было дано бодрым, даже чересчур уж бодрым тоном, который заставил Гавела поежиться и признать, что нежитью ненаследный князь был добрей.

— Вставай...

Подняться помог, руку на плечо положил, когти выпустил, намекая, что не надобно дурить. Гавел и не собирался. Куда ему бежать?

Да и зачем...

— Садись. — Себастьян довел Гавела до лавочки и усадил едва ли не силой. Сам сел близенько, пожалуй, чересчур уж близенько... вздохнул... покосился этак... выразительно... и еще ресницами взмахнул...

...это ж чего он потребует?

...и если то, о чем Гавел подумал, то лучше пусть бьет... битие, оно привычней как-то...

— Вот что ты, Гавел, за человек? — томно произнес ненаследный князь, приобнимая свою жертву. — Вечно все опошлить норовишь... и сейчас небось про меня гадости думаешь.

— Нет! — поспешно соврал Гавел.

— Думаешь, думаешь, я же вижу...

И наклонился к самому лицу, наверное, чтобы виделось лучше. Гавел аж дыхание задержал от ужаса.

— Успокойся. — Князь отстранился и по плечу потрепал. — Ты меня, конечно, интересуешь, но исключительно как профессионал своего дела... ты же профессионал?

Гавел кивнул.

Говорить он не мог.

— Мне нужны снимки конкурсанток... сам понимаешь, что не портретные...

— Голых? — уточнил Гавел.

— Голых, — согласился Себастьян. — Для чего — тебе знать не надо... считай, что вот такой я извращенец...

— Так разве ж это извращение? По нынешним-то временам...

— Да. — Себастьян Вевельский, подумав секунду, согласился, что если по нынешним временам, то снимки голых девиц — это вовсе даже не извращение. — Считай, что я начинающий...

Гавел хмыкнул.

— Сделаешь?

Сделает, конечно... там и делать-то нет нужды, перевести с памяти на пластины да отпечатать. Не зря же он у павильона крутился.

— Это хорошо. — Ненаследный князь потрепал Гавела по плечу. — Это просто замечательно... завтра принесешь.

— Сюда?

— Сюда... а копии — Аврелию Яковлевичу в собственные его рученьки... и записочку от меня заодно снесешь. Полагаю, нет нужды уточнять, чтоб не читал?

Гавел отчаянно помотал головой.

Нет.

Он человек в высшей степени благоразумный, а если и влез куда, то исключительно по незнанию, о чем ныне глубоко и искренне раскаивается.

— Вот видишь, — ненаследный князь, отодрав от панталон второй бантик, протянул Гавелу, — не все с тобою потеряно...

...тот, кто поселился в Богуславе, обещая избавить ее от всех проблем разом, был недоволен. Богуслава ощущала его недовольство остро, оно было болезненным, дурманным и повисало мутной зеленой пеленой перед глазами.

Недовольство пахло трясиной.

...и гнилым мясом, правда, Богуслава вяло удивлялась: откуда ей известно, чем пахнут трясина и гнилое мясо; но удивление исчезало.

Тот, кто поселился в Богуславе, избавил ее от эмоций.

К чему удивляться?

Сожалеть.

Беспокоиться о чем-то?

Он оставил Богуславе собственное раздражение и злость, колючую, как свежие ягоды артишока. И Богуслава осторожно держала злость на раскрытой ладони, разглядывая и удивляясь тому, сколь совершенна она. Иглы длинные, острые.

Железные.

И ранят до крови...

...нет крови, показалось. И ладонь-то обыкновенная, гладкая... Богуслава поднесла ее к глазам, пытаясь разглядеть следы от ран. Не то чтобы боялась, вовсе нет, но...

...запах болота стал отчетливей.

А следом пришло понимание, что тот, кто поселился в Богуславе, желает убить, и не просто кого-либо, хотя он и просто не отказался бы, кровь ему нравилась, и это было правильно, Богуслава сама согласилась, что в виде крови, в запахе ее имеется нечто в высшей степени притягательное. И потом, когда Богуслава исполнит свой долг, она позволит этой крови литься... но сейчас она должна убить конкретного человека.

Тиана Белопольска раздражала не только того, кто жил в Богуславе.

Она не нравилась всем.

Слишком громкая, суетливая и ко всему прочему — дура... а зачем дуре жить? Правильно, незачем... у нее получилось чудом вывернуться из ловушки, которую готовила не Богуслава... она наблюдала... и видела, кто принес коробку в комнату Тианы... и сама заглянула, исключительно из любопытства. Хотела бы попробовать, потому что очень аппетитно выглядели эти конфеты, а от аромата шоколада голова вовсе кругом шла. Но тот, который в ней жил, предупредил, что трогать шоколад нельзя.

Отрава.

Нет, он бы помог Богуславе справиться, но тогда она перестала бы быть человеком; и если она сама не была бы против — чем дальше, тем более неудобным казалось ей человеческое тело, — то тому, кто в ней жил, превращение было невыгодно.

Пока.

Но он обещал, что потом, после, когда все закончится, Богуслава станет иной.

Сильной.

И быстрой.

И еще почти вечной...

Она согласилась и ждала, будучи всецело счастлива в этом ожидании. Но растреклятая панночка Белопольска не стала есть шоколад, чем очень-очень разозлила того, кто поселился в Богуславе. Он ведь предвкушал сладость чужой смерти.

Разочаровали.

От колючей его злости Богуслава плакала кровью.

Не боялась.

Но собирала кровь со щек пальцами, а пальцы облизывала, удивляясь тому, до чего кровь вкусна...

...потом, позже, когда все закончится...

...обещает...

...надо только немного помочь...

...ему и той, которая подарила его Богуславе... или, наоборот, подарили Богуславу? Какое это имеет значение? Никакого...

Панночку Белопольску следует убить... только осторожно, чтобы походило сие на

несчастный случай... рано привлекать внимание... рано... а убивать легко. Богуславе прежде не доводилось? Это не страшно. Тот, который в ней обжился, знает, как правильно убивать, даже если без крови... хорошо, если без крови, потому что он слишком взбудоражен.

И почти готов выдать себя.

Тогда та, которая призвала его в мир и в Богуславу, будет недовольна. Ее он бы тоже хотел убить, но неспособен. Поводок держит. И приходится подчиняться.

Встать рано. Одеться... потом, позже, одежда станет не нужна Богуславе, она уже мешает, сковывая движения, но надо терпеть.

Выйти.

Ждать. И пристроиться за панночкой Тианой... от нее пахнет свежим мясом... мясо вкусное, особенно когда сырое... и Богуслава сглотнула слюну, которой наполнился рот. Она... не она, но значения не имеет, прекрасно помнила вкус человечины.

...дичи...

...разумная дичь всегда интересней неразумной.

Богуслава слюну сглотнула. Запах жертвы дурманил... и тянуло вцепиться клыками в смуглую шейку, раздирая и кожу, и мышцы, и тугую жилу. Кровью плеснет, и будет литься духмяным потоком, только успевай пить... успела бы, а потом с преогромным наслаждением слизывала бы ее, подсыхающую, с рук и когтей.

Нельзя.

Тот, кто жил в Богуславе, согласился, что пока — нельзя... позже... когда луна наполнится силой и тонкие миры коснутся друг друга... всего-то на миг; но ей, сильной, которой служат и Богуслава, и ее гость, уже ставший хозяином в теле, хватит и мига.

А пока...

Идти рядом, но не настолько близко, чтобы заметили... дышать в такт дыханию, отмеряя последние секунды чужой жизни. А панночка Тиана не торопится... платье подобрала, ковыляет, с трудом удерживаясь на тонких каблучках... и у лестницы замерла, вздохнула...

...сделала робкий шаг, обеими руками держась за перила...

...и второй...

Теперь быстрее, но не бегом. Все должно выглядеть естественно... девушки почти спустились, и Богуславу никто не упрекнет в том, что она торопится...

...торопится.

Бежит почти, хотя великоможные панночки и не бегают, неприлично это; но тот, который прячется в ней, лишь смеется. И Богуслава вместе с ним — до того нелепой показалась ей собственная мысль. Неприлично? О да, скоро приличия потеряют свое значение...

Она толкнула Тиану легонько; со стороны все гляделось так, будто бы Богуслава лишь задела ее подолом платья... но Тиана покачнулась...

...и полетела по лестнице, чтобы замереть у подножия ее нелепою тряпичной куклой.

И тот, который жил в Богуславе, выглянул, желая убедиться, что она, мешающая хозяйке, и вправду мертва... лежит, не шевелится.

Дышит ли?

— Мамочки! — послушно завизжала Богуслава, удивляясь тому, до чего неприятным, скрежещущим стал голос.

А в воздухе запахло кровью.

Свежей.

Сладкой... слаще яблок и меда... и тот, который жил в ней, с преогромным наслаждением вдыхал этот аромат, рассказывая о том, как потом, позже, когда хозяйка изменит мир, они с Богуславой напьются досыта... и голод, снедающий их обоих, утихнет.

Потом...

...когда луна нальется истинною силой. Уже недолго ждать.

Утром Себастьяна вновь попытались убить.

Спустился он к завтраку поздно, заранее ненавидя и полезный свекольный сок свежего отжима, и вареную спаржу, и даже морковную запеканку. Себастьян с нежностью и тоской вспоминал краковельскую колбасу, а заодно уж Лихославу невесту, к которой приближаться и вправду не следовало.

...и про туфли, которые были тесны, думал.

Это было неприятно.

И странно.

Обувь шили по мерке, как и платья... и вчера только доставили новую пару, весьма панночке Тиане приглянувшуюся — да и как устоять девичьему сердцу против кремового атласу, расшитого стеклярусом? И еще бантики. К бантикам у панночки Тианы было особо нежное отношение.

А нынешние просты.

Не атлас — кожа, и дубовая какая-то... каблук высокий, тонкий. Идти приходится осторожненько... и Тиана с извечною ее торопливостью отстраняется, уступая место Себастьяну... пальцы жмет, пятку натирает, и с каждым шагом — все сильней.

А тут лестница, всего-то ступенек двадцать, но выглядит едва ли не бесконечною...

...ковер убрали.

Это Себастьян отметил машинально, обеими руками хватаясь за перила, и почти не удивился тому, что перила эти оказались скользкими...

Конкурсантки спешили на завтрак.

В молчании.

И панночку Тиану обходили стороной, лишь эльфиечка бросила раздраженный взгляд... ну да, разочаровалась она в легенде-то... легендам срыгивать не положено, как и разговаривать с набитым ртом. Легенда должна быть далекой и прекрасной, аки звезда...

Тьфу, и лезет же в голову поутру всякая ерунда...

...но главное, что лестница длинная.

Каблуки тонкие.

Туфли тесные, и юбки еще к ногам липнут, того и гляди — спеленают...

...этого дожидаться не стали. Достало малости — легкого, будто бы случайного толчка в плечо... и Тиана покатила по ступенькам... Себастьян успел сжаться в комок.

Было не столько больно, сколько неприятно...

— Мамочки! — донесся истошный визг, кажется, Богуславы...

...а ведь она шла следом.

Точно.

Шла и толкнула, словно бы невзначай. Иным бы разом Себастьян не обратил бы внимания на это легкое, скользкое прикосновение... но тут туфли.

И каблуки.

Скользкий поручень, точно специально натертый воском. А может, и специально?

Себастьян сел, потирая шею.

— Ох и скользкие у вас ступеньки, панна Клементина! — сказал он, глядя на хозяйку Цветочного павильона снизу вверх, с должной толикой огорчения. — Прямо сил нет!

— С вами все в порядке? — Она произнесла это с искренним беспокойством.

Надо же...

И на Богуславу взгляд быстрый кинула, но тотчас спиной повернулась.

— Нос разбила. — Себастьян вытер нос ладонью и руку поднял, чтоб все видели, что рука эта — в крови...

Ноздри Богуславы дрогнули, и сама она подалась вперед. Нехорошее движение, уже почти нечеловеческое... и поза сама, локти прижаты к бокам, пальцы растопырены, шея вытянута, и рот приоткрыт; стоит, слюну сглатывает часто, неспособная отвести взгляд от раскровавленной ладони.

Еще немного — и бросится.

Нет, отступила, попятилась, вскинув руку, рукавом заслоняясь от неприятного зрелища.

— Нос — это ничего, — сказала Тиана, вытирая ладонь о подол. — Вот я в детстве как-то упала и на гвоздь головою налетела... ничего страшного, распорол кожу только, но зато кровящи было... жуть! Шили потом!

Богуслава исчезла.

Не нравятся разговоры о крови? Или напротив — чересчур нравятся?

Зря не поверил Ядзите. Как есть одержимая, и давно, если тварь, в душу пробравшаяся, уже и тело обжила...

— Вы встать можете?

— Встать могу. — Тиана поднялась.

— А идти?

— Идти не могу... каблук сломала! Панна Клементина! Эти каблуки — сущее издевательство! А ну как кто бы другой сверзся? Я-то ладно, про меня еще дядечка говорил, что я завсегда на ноги падаю, даже тем разом, когда с голубятни сиганула! Нет, это-то давненько было, и упала я аккуратно на сено, уж больно удачненько привезли его... я вообще везучая...

Себастьян сказал это громко, чтобы все слышали.

— Мы очень рады, — сдержанно и отнюдь не радостно ответила Клементина, поддерживая Тиану под руку, — что ваше везение вам не изменило...

...о да, оно еще понадобится.

Себастьян вдруг четко осознал, что до полнолуния осталось не так и много времени, а значит, панночку Белопольску будут изводить с утроенной силой.

И не ошибся.

...к обеду прислали букет ядовитых роз, который Тиана от щедрот душевных попыталась всучить панне Клементине. А то ж самой ей цветочки только и делают, что шлют, и если от королевских избавиться никак не выйдет, то этими, чужими, сам Вотан поделиться велел...

...Клементина не обрадовалась, но и перечить не стала. Розы со смертельным ароматом остались в холле, ненадолго, не прошло и четверти часа, как этот букет сменился иным, почти таким же...

...а золотая цепочка с кулончиком и отсроченным проклятием отправились в унитаз... совершенно случайно, как иначе... и Тиана искренне и громко о ней горевала... ей так же громко, но отнюдь не искренне сочувствовали...

...скрип люстры, что медленно, но неумолимо сползала с цепи, Себастьян услышал загодя и еще возмутился, потому как под люстрою этой стоял не один, но в компании его высочества, для которого, естественно, запретов не существовало. Во всяком случае, Клементина, встретив высокого гостя, не посмела отказать ему в визите.

И вот теперь оный гость, облобызавший Себастьянову руку до самого локтя, стоял себе под люстрой, рассказывая очередную историю из королевского бытия... история, верно, казалась ему увлекательной и где-то забавной, отчего его высочество изволили смеяться...

...и не замечать люстры.

А она сползала все быстрее, не оставляя Себастьяну выбора... и когда зазвенели хрустальные подвески, он решился.

С громким визгом:

— Мышь! — он бросился на шею его высочества, который от этакой прыти несколько растерялся, но девицу визжащую подхватил, правда, не подрассчитал, верно, что она девица его на голову выше и отнюдь не отличается худобой.

Матеуш честно попытался удержать панночку Белопольску, рвущуюся бежать подальше от страшного зверя... но не сумел.

Он вдруг оказался на полу, погребенный под ворохом юбок...

...а в следующий миг с грохотом, звоном и пылью рядом осела люстра.

— Мышь! — развела руками Тиана и, наклонившись к королевскому уху, призналась: — С младенчества мышов боюсь! Они такие... серые... мелкие и с хвостом...

— С хвостом... — Матеуш повторил это, глядя на люстру, металлический остов которой погнулся... и его высочество, воображением обладавший живым, живо представили, как металл этот, украшенный двумя сотнями хрустальных подвесов, падает ему аккурат на голову... и голову пробивает... а самого Матеуша стирает в кровь.

— Мышь... — сглотнув, повторил он, — это... это серьезно...

— А то! В прошлом годе дядечка жаловался, что они все зерно в амбаре пожрали! А я ему говорила, что это не токмо мыши...

Слезать Тиана Белопольска не торопилась, а Матеуш не протестовал.

Он лежал, глядя снизу вверх, и надо сказать, что картина королевским очам открывалась весьма прелестная...

...кто-то бегал, кричал...

...кажется, интересовался самочувствием, но Матеуша весьма мало волновала поднявшаяся вокруг суэта. Он был жив... благодаря мыши и панночке Белопольской, которая вдруг вспомнила, что не просто так сидит, а на его высочестве; можно сказать, на глазах у многочисленных свидетелей бессовестно попирая королевскую власть.

Власть в лице Матеуша была не против...

— Ой, чего творится... — протянула Тиана, кое-как сползая с его высочества. И, вставши на четвереньки, огляделась. — Это люстра ухнула, да?

— Д-да. — Его высочество с неудовольствием отметили, что коленки-то дрожат...

...и не только коленки.

— Люстра. Упала, — повторил он, поднимаясь.

Тоже на четвереньки.

И носом уперся в длинный, но прехорошенький нос Тианы... а покраснелась-то как... и растрепалась... чудо до чего хороша... волнуется, переживает, дышит часто, и сам Матеуш

дышать начинает, пусть бы и меловой пылью, которой припорошило темные кудри Тианы.

— Жуть! — сказала она и срыгнула. Должно быть, от нервов.

Бедняжечка.

Испугалась.

— Не бойтесь, — сказал Матеуш, подвигаясь ближе. Он осознавал, что нехорошо ползать на четвереньках, но ничего не мог с собою поделаться. И, кое-как сев, приобнял панночку за плечи. — Вы... вы, дорогая моя Тиана...

От ручки ее пахло пылью, и камнем, и еще кровью... когда только пальчики свои ободрать сумела.

— Вы мне жизнь спасли!

— Скажете тоже. — Она плечиком повела, и плечико это весьма изящно выскользнуло из ворота... платье успело треснуть и съезжать начало, но было вовремя остановлено Тианой. Сама она зарделась и губку закусила.

— Скажу! — с пылом ответил Матеуш.

Пережитое заставляло острее ощутить жизнь во всех ее проявлениях...

— Вам, моя дорогая, я теперь обязан... не спорьте... хотите, я вам орден вручу...

— Спасибо... — Себастьян вовремя прикусил язык, с которого едва не слетело: «У меня уже есть один». И, придерживая расплывающееся платье уже обеими руками, попросил: — Вы лучше шоколадом... шоколад, он, знаете ли, волнение крепко снимает! Вот у дядечки моего супружница как переволнуется, так сразу за шоколад. Сядет и грызет, грызет... целиком от плитки отгрызает! А попросишь кусочка, так не поделится... мол, невместно мне ее шоколад ести... сквалыжная она! Я-то шоколад люблю...

...зря сказал.

Спустя полчаса, кое-как отбившись от излишне назойливого целителя, который то ли выслужиться желал, то ли почуял неладное, но все норовил ручку пощупать, Тиана лежала в постели.

В шелках, кружевах и с укусным компрессом на высоком лбу.

Матеуш, успевший сменить облачение, сидел рядом, да не просто сидел, а кормил Тиану шоколадом. И кусочки, паразит венценосный, выбирал крошечные, совал в рот... и еще в глаза заглянуть норовил.

— Вы так храбры...

— Да вы что! — Себастьян брал шоколад аккуратно, норовя не облизывать королевские пальцы. Во-первых, выглядели оные не слишком-то чистыми, во-вторых... правда об этой истории рано или поздно выплывет на свет божий.

На плаху Себастьяну не хотелось.

И в ссылку тоже.

— Я мышей боюсь! И еще пауков... — Вспомнил давешний подарок и, не удержавшись, поскреб шею. — Бабочков опять же.

— Вы боитесь бабочек?!

— Ага.

— Почему?

...потому что от таких бабочек противоестественные наклонности подцепить можно.

— Да... — Себастьян осторожно принял очередное подношение, мысленно прикинув, что запасов шоколада в коробке, которая стояла на коленях его высочества, хватит дня этак на два. — Вы когда-нибудь вблизи бабочку видели?

Матеуш наклонился, точно желая одеяльце поправить... ну-ну... Себастьян тоже, случилось, поправлял... сначала одеяльце, потом простыночку...

— Это ж жуть невообразимая! У нее глаза огромные. Огнем горят. И усы... и сама она лохматая... а крылья в чешуе...

— Дорогая, вы уверены, что про бабочек говорите?

— А то!

— Огнем горят, значит... и крылья в чешуе. — Матеуш, кажется, представил себе такого монстра и вздрогнул. — У вас, дорогая моя Тиана, очень оригинальный взгляд на... обычные вещи.

...ну да, обычные... что необычного в привороте?

— Мне жаль, я не знал об этом вашем страхе... — А теперь взгляд у его высочества стал весьма задумчив, кажется, они прикидывали альтернативные варианты. — Впредь обещаю быть осторожней... щадить ваши чувства... — И наклонились еще ниже.

Себастьян вжался в подушки...

— Скажите, чего вы еще боитесь...

В выпуклых белесых глазах его высочества ненаследный князь увидел решимость.

— Крысюков. Пауков. Про пауков я вроде говорила... и ящерок. Змей. Темноты. И когда сзади орут...

— Клянусь, я сзади орать не стану...

— Колдовок боюсь... у нас в городе жила одна старуха, натуральная колдовка! С носом кривым. И на глазу бельмо... вот ежели бельмо на правом, то это еще ничего...

Его высочество, выдохнув:

— Да...

...склонились еще ниже... а подушки сделались плотными, и сколь Себастьян ни старался, сколь ни ерзал, отодвинуться не вышло.

— Я... вас очень внимательно слушаю...

...еще ниже, носом носа касаясь. И от такой интимности прямо кулаки зачесались. Себастьян их на всякий случай под одеяло спрятал.

— Да... нечего слушать... я уже все...

Матеуш вытянул губы трубочкой и попытался-таки поцеловать...

...Себастьян взвыл, вскакивая...

...но его высочество взвыли еще громче и отпрянули, прижимая к губам руки...

— Фто это было? — спросил он отнюдь не любезным тоном.

— Дядечка... п-подарил... — Себастьян прижался к стене, не спуская взгляда с королевича.

Тот же медленно, недоверчиво ощупывал распухшие губы, которые медленно наливались нездоровым багрянцем.

...вот спасибо, Аврелий Яковлевич, за заботу, только предупредить мог бы!

— К-кулончик, — слегка заикаясь, Себастьян вытащил из-под длинной рубашки вышеупомянутый кулончик, — н-на всякий случай.

Матеуш издал долгий, протяжный звук, от которого Себастьяново сердце оборвалось.

— Чтоб не с-соблазнил никто... д-до свадьбы.

Его высочество, продолжая ощупывать губы, кивнули.

До свадьбы, значит.

Он не был зол, скорее несколько раздражен и удивлен; но удивление это в

новообретенной жизни, которая продолжалась, несмотря на люстру, было чем-то вполне себе естественным.

А Матеушу казалось, что он разучился удивляться.

...и смеяться... тем паче если над собой... а ведь и вправду смешно... соблазнитель... губы онемели, распухли и цвета стали уже не красного — пурпурного.

Королевского весьма.

И он, потрянув головой — жест этот никак не увязывался с венценосным образом, а потому вытравливался воспитателями с особым тщанием, как и привычка грызть ногти, — рассмеялся. Громко.

Неприлично.

И долго. Гортанный некрасивый смех его, который многочисленным гувернерам так и не удалось облагородить, был слышен далеко за пределами комнаты. Но Матеушу впервые было наплевать.

Он живой.

И жизнь прекрасна, даже когда губы на пол-лица расползлись. Тиана же, опустившись на шелка и кружево, вцепилась в одеяло, натянула по самый нос и из-за этой ненадежной преграды внимательно наблюдала за королем.

— А... а шоколад очень вкусный, — сказала она, когда Матеуш отсмеялся. — К губам надо медень прижать. Меня как-то пчела укусила... у дядечки улы стоят, медок собственный дюже хороший, но пчелы злющие, что выдры! И я пейзажу писала, а она как подлетит! Как в губу вцепится! Та и распухла... вот мне стряпуха подсказала медня приложить, чтоб спухлость прошла... и прошла...

Звенел голосок панночки Белопольской, которая, конечно, не особо умна, но прелесть, что за дурочка... и птицы за окошком пели...

...и розами пахло.

И лето горело во всей его летней красе...

Как бы там ни было, но Цветочный павильон его высочество покинули пусть и с распухшими губами, но в настроении великолепнейшем.

До свадьбы, значит?

Будет ей свадьба... вот сразу после конкурса и будет...

...терпение не относилось к достоинствам Матеуша.

Глава 4, где повествуется о родственной любви, которая в иных обстоятельствах мало от ненависти отличается

*Боги даруют нам родственников; друзей, слава богу, мы
выбираем сами.*

*Из откровений Себастьяна Вевельского, сделанных им в
минуты душевного подъема*

Лихо вернулся за полночь.

И ни слова не сказал, но сгреб Евдокию, уткнулся холодным носом в шею, да так и замер. Стоял мокрый, взъерошенный... и пахло от него вином.

— Лихо...

— Все хорошо. — Он все же заговорил. — Все хорошо, Ева... он к тебе больше и близко не подойдет...

— Не подойдет, — согласилась она просто потому, что сейчас чувствовала: надо было соглашаться.

И пряди мокрые разбирать. И рубашку стянуть, которая прилипла к коже, а кожа эта побелела... придумал тоже — среди ночи купаться... или топиться?

— Не подойдет...

— Конечно, а если подойдет, то я его... канделябром, — сказала и не выдержала, рассмеялась. — Я подумала, что насмерть... представляешь, если бы и вправду насмерть? Не то чтобы сильно жаль, но ведь судили бы... и на виселицу.

— Женщин не вешают.

— Тогда что?

— За непредумышленное убийство? — Лихо переспросил и нахмурился, словно и вправду раздумывая, что грозило бы Евдокии, окажись голова старшего актора не такой прочной. — Сослали бы в приграничье, на поселение...

— Ну приграничье всяк лучше плахи.

Он не злился. И не собирался Евдокию обвинять. И конечно, она-то ни в чем не виновата, но... неприятно.

— Я бы не позволил тебя обидеть...

А глаза уже не синие, желтизной отливают волчьей... не глаза — злотни новенькой чеканки.

— Лихо...

— Все хорошо, — повторил он, улыбаясь какой-то на редкость беспомощной растерянной улыбкой. — На самом деле все хорошо...

Ложь.

Но не в том, что случилось недавно, потому как происшествие это было несурзацей, глупостью, и Лихо понимает, иначе не пришел бы.

Позволил себя уложить.

И Евдокия рядом легла, голову на плече пристроила.

— Рассказывай, — велела, хотя и не думала, что он подчинится.

Но Лихо, коснувшись губами макушки, заговорил:

— Мы с Себастьяном ладили. С остальными сложно... нет, я люблю всех своих братьев и сестер тоже, но... с ними было не так. Велеслав вечно жаловался... Яцек — чуть что, так и в слезы... прочие — вообще малышня... а Бес — он веселый...

— погоди. — Евдокия отстранилась. — Он твой... брат?

— Старший, — кивнул Лихослав.

— То есть ты... князь Вевельский?

— Буду когда-нибудь. Но да, а что?

— Ничего.

Но локтем в бок толкнула, вымещая раздражение.

И ведь умом-то понимает, что Лихослав не виноват в прошлых бедах, даже не Евдокииных, а семейства ее, но все одно обидно.

Князь.

Вевельский... так это получается, что потом, после свадьбы, сама Евдокия княгиней станет? Мысль эта показалась ей столь нелепой, смешной, что Евдокия фыркнула.

Какая из нее княгиня?

Недоразумение одно.

— Не волнуйся, этот титул... ерунда одна... — Лихо перевернулся на бок и, в глаза заглянув, тихо добавил: — Если он вообще мне достанется... по праву он должен Себастьяну принадлежать. Но отец решил, что... он не любит странностей. А Бес всегда был странным... я-то многого не помню по малолетству, зато вот понимаю раскрепрасно, что если отец про меня дознается, что я...

— Волкодлак.

— Да. — Он потерся щекой о ладонь. — Он вполне способен еще один отказ написать.

— Как?!

— Обыкновенно. В Статуте имеется пункт о чистоте крови, а моя теперь, сама понимаешь... — и замолчал, напрягся вновь, разве что не скалится.

Вот бестолковый.

— Поэтому если ты решишь, что...

— Сбежать вздумал? — Евдокия дернула за жесткую прядь.

— Я?

— Ты! Все вы, как девицу в постель уложить надобно, золотые горы словесами сыплете, а как в храм идти, разом десять причин находится... то он не князь, то волкодлак... нет уж, дорогой, раз обещался...

— Обещался — женюсь. Ева...

— Что?

— Ничего. — Высвободив ее руку, Лихо прикусил пальцы. — Ты и вправду не боишься?

— Того, что тебя титула лишат?

— И этого тоже...

— Этого — точно не боюсь. — Нужен Евдокии княжий титул, примерно как козе телескоп.

— А того, что я... вдруг они ошиблись? И крови хватит, чтобы обернуться...

...а вот этого он сам боялся.

— Лихо, скажи, если бы был хоть малый шанс на то, что ты волкодлаком станешь, тебя бы выпустили оттуда? — Она спрашивала, в глаза глядя.

Дрогнул.

Отвернулся и ответил:

— Нет.

— Дай угадаю, свои бы и прибили... а после прислали письмо, что, мол, погиб во славу короля и отечества?

— Да.

— Но ты живой и здесь.

— Живой и здесь, — повторил он, точно сам себе до конца не веря.

— И значит, не бывать тебе полноценным волкодлаком.

Поцеловала в холодную щеку.

— А если и так, — сдаваться этот упрямец не был намерен, — хватит и того, что скажут, если вдруг выплывет... рано или поздно, но выплывет... скандал случится...

— Напугал.

— Нас перестанут принимать в свете...

— Меня и до того не принимали.

— Ты упрямая.

— Я, между прочим, замуж в кои-то веки собралась, а ты мне тут чинишь препятствия. — Евдокия легла на живот, так сподручней было его разглядывать. — Волкодлак и... волкодлак... зато если с волчьей кровью, то однолюб... сам говорил...

— Когда?

— В поезде!

— Так мало ли что я там говорил! Переволновался, вот и нес всякое...

Улыбается. И улыбка — вполне себе человеческая, а что клыки слегка выглядывают, так это на луну.

— С чего это ты там переволновался?

— А не помнишь? Ты меня крендель украсть заставила!

— Я заставила?!

— Ты. — Лихо щелкнул по носу. — Прямо-таки потребовала... мол, не принесешь крендель, не будет разговора...

Врет, не так все было! Но возмутиться Евдокии не дали.

— Ева... значит, не передумаешь?

— А тебе хочется, чтобы я передумала?

— Нет, я... боюсь, что ты передумаешь.

— Не бойся. Не передумаю. Ты на мне женишься. И мы будем жить долго и счастливо... а если вдруг слухи пойдут, то и леший с ними. Уедем из Познаньска... в Краковель, у маменьки там дом... но мы лучше свой купим, где-нибудь за околицей, чтоб любопытных поменьше. С подвалом и цепью...

— Зачем?

— Тебя сажать стану, ну если вдруг на полную луну выть вздумаешь. А шерсть и вычесывать можно... я слышала, что собачья шерсть очень теплая, из нее еще пояса вяжут, от ревматизму.

— Жестокая!

— Практичная. Представь, какой прибыток! Тебе-то ничего и делать не надо, сам порастешь...

Он не выдержал, рассмеялся, должно быть представивши, как сидит на цепи, а Евдокия с крупным овечьим гребнем шерсть дерет, приговаривая, что та нынешней луной особо длинная и хорошо блестит...

— Опять же на охоту тебя выпускать можно будет...

Смеялся тихо, но на душе от смеха его становилось радостно.

— Практичная... как есть практичная... — Лихо прижал к себе. — Замечательная...

Успокоился.

И лежал, разглядывая потолок, молчал, но молчание в кои-то веки было не тягостным. Евдокия не мешала, она сама пыталась представить будущую их жизнь, настоящую...

Какую?

Какую-нибудь, хорошо бы счастливую... имеет же она, Евдокия, право на счастье? Княгини из нее не выйдет, это точно... и что скажет Тадеуш Вевельский о такой невесте? Не обрадуется... или напротив? Дела-то семейные, Лихо сам признался, идут плохо; а за Евдокией деньги стоят... и значит, примут. Деньги точно примут, а вот ее...

...если подумать, то купеческая кровь в чем-то сродни волкодлачье. Вреда-то от нее нет, а стыдно... нет, прочь такие мысли.

Лихо не позволит обидеть.

Ему Евдокия верила.

— Мы виделись-то с большего летом... Беса в имении держали... он же лет до шестнадцати вовсе уродцем был.

Странно этакое представить.

— Горбатый и с хвостом, и еще характер его упертый, если чего решит, то сдохнет, а исполнит... но характер ладно, а вот хвост его отцу поперек горла был. Ну и остальные... они на отца смотрели... нет, не подумай, что он плохой. Обыкновенный человек. Боится непонятного. В общем, с Бесом оно понятно, а из меня князя делали.

— Это как? — поинтересовалась Евдокия.

— Обыкновенно. Учеба... манеры... и манеры важнее учебы... чтоб держаться умел, отца не опозорил. Он страшно боится позора... и скандалов жуть до чего не любит.

Лихо провел ладонью по спине, не то ее успокаивая, не то сам успокаиваясь.

— Он думал, что Бес до конца своих дней будет в поместье сидеть. Нет, смерти не желал, но... чтобы на люди не показывался, не напоминал о своем...

— Уродстве?

— Да. А он взял и сбежал. В полицию пошел... князя Вевельские никогда в полиции не служили. Армия — дело другое, армия — она изначально для благородных. А вот мошенников ловить, отребье всякое... отец тогда кричал так, что покраснел весь. Требовал, чтобы контракт разорвали...

— Не получилось?

...не получилось.

И давно все было, а надо же, Лихо все распрекрасно помнит. И отцовский бас, от которого, казалось, стекла дрожали, и сами эти стекла, серые, затянутые рябью дождя, словно рыбьей чешуей облепленные. И старый вяз за ними, на который он, Лихо, пялился, когда становилось вовсе невмоготу...

Как сейчас.

Сидел над книгой, читал, а что читал...

...помнит и сухое лицо очередного губернатора, которые менялись так часто, что Лихо давно уже перестал воспринимать их как людей.

Функция.

Из тех, которыми полна тетрадь по арифметике. Функции не даются, и с латынью у него неладно, да и, кажется, со всем, помимо фехтования и верховой езды. Вот лошадей Лихо любит.

А лошади — его.

И в тот день он думает лишь о том, что из-за дождя прогулку, скорее всего, отменят... а отец все орал... кажется, на мать.

— Не отвлекайтесь, — сказала функция-губернер, стукнув указкой по столу.

Он бы и рад, но... тоска...

...а скандал все длится и длится... и когда губернёр все-таки уходит — он исчезает как-то незаметно, растворяясь в огромном и раздражающе пустом доме... Лихо запрещено выходить из классной комнаты. У него есть задание, которое он должен сделать; но арифметика с геометрией в голову упорно не лезут; и он выбирается из-за стола, снимает жесткие ботинки и на цыпочках крадется к двери.

Подслушивать нехорошо, недостойно князя, но Лихо уже устал пытаться быть достойным, все равно ведь не получится... и любопытно.

Он обманывает старые скрипучие петли, и дверь отворяется почти беззвучно, выпуская голоса.

— ...это все ты! — Отец уже хрипит.

Он расхаживает по гостиной с газетой, которую держит в кулаке, и кулаком потрясает. А матушка неподвижна. Отвернувшись, будто бы разглядывает цветочную композицию. Лихо не видит.

— Ты его распустила! Потакала во всем! И что теперь?

— Ничего стгашного, догогой. — Тон матушки спокоен, но спокойствие это обманчивое, Лихо видит, что она зла, но не способен понять, на кого. — В конце концов, может, Себастьян отыскал свое пгизвание.

— Ловить шпану по подворотням?!

— Кто-то должен делать и это.

— Кто-то пусть и делает! Но мой сын не будет...

— Твой сын уже это делает. — Матушка позволила себе улыбнуться и произнесла мягко, успокаивая: — В честном тгуде нет ничего позогного.

Зря она это сказала.

Отец побагровел.

Захрипел. И, скомкав газету, швырнул в маменьку. К счастью, не попал.

— Это... это ты его подбила! Мой сын позорит родовое имя!

— Тем, что желает служить?

— В полиции! — взвыл отец. — Служить в полиции! Под началом какого-то... да мои предки...

— Думаю, отнеслись бы к ситуации с пониманием.

— Ты... ты ему потакала... во всем... ты... я...

— Успокойся, догогой. Ты дугно выглядишь. В твоём возгасте подобные волнения

чгеваты. — Матушка подошла к низкому столику и, плеснув в бокал виски, подала отцу. — Выпей.

Бокал полетел в стену.

А Лихо вцепился в ручку, не зная, как быть — войти или...

— Ты... ты думаешь, что отомстила?

— Помилуй, догогой, газве у меня есть пгичины для мести? — Как показалось, матушка произнесла это с насмешкой, которую услышал не только Лихослав.

— Я тебя... — Отец рванул воротничок рубашки, и серебряные пуговицы дождем посыпались на пол. — Я тебя в монастырь отправлю... за твои шашни...

— Боюсь, сейчас не те вгемена, догогой, — тем же спокойным, слегка насмешливым тоном отвечала матушка. — Ты, конечно, можешь подать на меня в суд... но сомневаюсь, что пгилюдное газбигательство пойдет на пользу князьям Вевельским. Не говога уже о том, что и мне найдется чего сказать...

Она обошла отца, двигаясь с обычной своей неторопливостью, и Лихо едва-едва успел отступить.

— Я была с тобой теппелива, Тадеуш, — произнесла княгиня Вевельская, остановившись у двери. — Но ты долго испытывал мое теппение. Не заставляй меня вспоминать о... нашем бгачном контгакте. Помнится, там есть пункт о том, что в случае газвода я могу тгебовать возгачения пгиданого.

— Третьей части, — глухо уточнил отец.

— Тгетью части... мне хватит и этого. А вот хватит ли у тебя сгедств, догогой, чтобы отдать мне эту тгетью часть?

Отец молчал. И матушка, мягко улыбнувшись, произнесла:

— Не будем ссогиться по пустякам... хотя бы гади детей...

...наверное, ей следовало инициировать развод раньше, тогда, глядишь, и сумела бы получить хоть что-то из остатков приданого.

А она ждала.

Ради детей.

Ради эфемерных приличий, которые когда-то и для Лихослава имели значение, а теперь вот самому смешно.

Женщина, от которой остро, притягательно пахло свежим хлебом, лежала рядом и слушала. Она была живой и горячей и по праву принадлежала Лихо, но он все одно трогал ее, убеждаясь, что не мерещится. И петля под сердцем таяла, не та, колдовская, по дури прихваченная, а другая, о существовании которой Лихо и не подозревал.

— Потом-то решили, что, раз контракт разорвать нельзя, надобно пользоваться... дескать, князь и простым людям служит... Бесу это не по нраву было, но тут особо ничего не сделаешь. Пишут. Славят. А уж после той истории с Познаньским душегубцем... он второй год служил... женщин стали находить убитых. И не просто там... он их душил, но не до смерти, а потом, придушенных, резал... мы тогда с Бесом стали часто видеться. Он квартиру снял. Я при казармах...

И, видя недоумение, пояснил:

— После Бесова побега спровадили, чтоб, значит, был под присмотром. К слову, мне там нравилось...

Евдокия фыркнула, кажется, не верила. А зря.

И вправду нравилось. Никаких тебе гувернеров, арифметики или латыни. Иная, взрослая, казавшаяся до того запретной жизнь.

— Ну да к истории с душегубцем про Беса не то чтобы забыли вовсе, скорее уж привыкли. Ничего серьезного не поручали, берегли, чтоб ненароком чего... не уберегли. Он же не дураком был, понимал все... ну что сидеть ему в управлении на бумажной работе. А тут такое... вот он сам и влез. И я с ним...

— Ты?

— Я... говорю ж, Бес не дурак. И не самоубийца. Вот и попросил подстраховать.

— А ты согласился, — мрачно заметила Евдокия.

— А я согласился... я рад был. Это ж приключение! Настоящее! К тому времени успел заскучать. Королевская гвардия — это... паркетные войска. Тоска смертная. Пара сотен родовитых бездельников делают вид, что служат... нет, они и служат, конечно, но все же служба эта такая, что поневоле взвоешь... поначалу только весело, а потом одно и то же: карты, бабы, сплетни.

— Бабы, значит. — Евдокия щелкнула по носу.

— Это давно было! И вообще, я в отставке!

— Это хорошо...

— Что давно?

— Что в отставке. — Теплая ладонь прижалась к груди.

...а вдруг да и вправду истаёт проклятие?

Сказка. Но нынешней ночью ущербной луны, как никогда прежде, хочется верить в сказки. И живой запах его, Лихослава, женщины — чем не подтверждение?

— Он раздобыл амулет, который глаза отводит... для меня, конечно... потом выяснилось, что душегубец ведьмаком был... необученным, но сильным... его сила, выхода не нашедшая, с ума и свела... он меня видел, только всерьез не принял. Решил, что поклонник... не угроза. Да и то верно, шестнадцать лет с хвостом, какая угроза... это я сам себе казался грозным...

— Ага, как щеня на подворье.

— Точно, щеня... два щенка, вообразившие, что обманут всех. Себастьян вычислил, с кого все началось... первая жертва... цветочница. Он ее за два года до того зарезал... дело списали на ограбление, да только тело покровсали, а серьги не тронули... там еще что-то было, он мне объяснял, только я уже не помню. Бесу бы доложить, дальше бы потянули за эту ниточку, глядишь, и вышли бы на ее ухажера, которому девица от ворот поворот дала. Он и сам-то на него вышел. Медикус-недоучка... таксидермист... от него, помнится, скипидаром крепко воняло. Доказательств не было.

Лихослав провел когтями по щеке своей женщины.

Когти были твердыми и не исчезали... прежде-то если и появлялись, то на полную луну, и под перчатками незаметно было... подумает, стал немного неуклюжим, с кем не бывает...

...и верно, знай полковой ведьмак, что когти станут появляться задолго до полнолуния...

...и что Лихо слышит сам шепот луны: ласковый, женский... призрачный, но все же явный, столь явный, что перебить его можно лишь словами, вот и выплетает он историю из прошлого, чтобы от настоящего спрятаться.

Не отпустили бы.

Верно сказала Евдокия: свои бы и... и правильно, Лихо видел, как оно бывает, когда

человек нелюдью становится. И страшно. Не за себя, за нее, мягкую и доверчивую, сладко пахнущую свежим хлебом и еще солнцем, от которого ныне в глазах рябит...

...и Аврелию Яковлевичу Лихо верит.

...нет, если бы имелась хоть крошечная вероятность того, что Лихо опасен, не выпустили бы...

— Вот Бес и решил... в платье вырядился... заказал точь-в-точь такое, как на той цветочнице было... и лицо ее надел... и вышел, прогулялся по улице... в кофейню завернул... мы посидели, а потом он вроде бы как к парку направился, а я отстал.

И снова память очнулась.

Вечер.

Близость осени, которая ощущается дымом на языке, терпкий сладковатый вкус. Лиловая дымка, еще не туман, но предвкушение оно. И узенький серп престарелого месяца, который вот-вот исчезнет, чтобы переродиться. Солнце наливается закатной краснотой.

Фонари уже горят.

И городской долго глядит вслед панночке, которой вздумалось выйти на прогулку в этакий час, то к свистку тянется, то отпускает, неспособный решение принять. И Лихо не по себе от того, что этот деловитый человек способен порушить весь их такой замечательный план.

Но городской остается позади.

И парк встречает тишиной, осеннею прохладцей.

Дорожки. И пруд с жирными утками и жирными же голубями, что бродят по берегу, выискивая хлебные крошки... старый фонтан... клены, на листве которых уже проклюнулся багрянец...

Девушка в легком фисташкового оттенку платье.

Шляпка.

Ленты... ветерок играет с ними, и Лихо удивляется тому, что неужели вот эта темноволосая девушка — и вправду его родной брат? Если б не видел, как Себастьян менялся, не поверил бы.

Видел.

И сейчас смотрел, да только все равно пропустил момент, когда возле девушки появилась фигура в сером плаще, полы которого взметнулись крыльями, на мгновение закрывая девушку от Лихославова взгляда.

— Мы не знали, что он ведьмак... он и сам не знал... у него случались выбросы силы, когда убивал... и перед убийством. В моменты очень сильных эмоций. Аврелий Яковлевич так сказал. И еще сказал, что этот... силы своей боялся. Он был из староверов... строгого воспитания, понимаешь? Из тех, которые полагают, что любая сила — от Хельма.

В темноте и глаза ее темны, не зеркала души — озера...

...серые озера воды на бело-сизых полях мха. Бездонные, беспокойные, так и манят подойти к самому краю, заглянуть...

...ложь, эта вода не дает отражений, сколько ни вглядывайся, а если вдруг увидишь, то значит, что Серые земли в душу проросли и оттуда их не выкорчевать, как ни пытайся.

— Он и убил-то, потому что сила проснулась... влюбился... а она не ответила

взаимностью, зато сила выплеснулась... и решил, будто его прокляли... убил, чтобы проклятие снять.

Серые крылья сминают воздух, и он идет волной, которую Лихослав видит.

Но и только.

Он не способен уйти с дороги волны, как неспособен кричать... и замирает, принимая удар. Как-то очень громко, отчетливо хрустят кости, и кровь выплескивается из горла на траву... и запах ее, и еще кислый — рвоты, мешают потерять сознание.

А полотняные крылья плаща обнимают девушку в зеленом платье... и, кажется, Лихослав все-таки кричит, только крик оборачивается клекотом, точно это не душегубец, а он, Лихо, в птицу превращается...

— Нас спасло, что тот городской все-таки сообщил патрулю... и я захватил тревожный амулет... не помню, правда, как активировал...

Ее руки успокаивают, хотя память уже не причиняет боли.

Она, эта память, на редкость послушна. И ныне прорастает серыми стенами госпиталя святой Аурелии... серые стены и солнечные зайчики. Узкое окно с широким подоконником, на который садятся голуби, толкаются, курлычут. И шелест птичьих крыл выводит из полусна.

Ненадолго.

Надолго нельзя, но когда Лихослав открывает глаза, то видит и окно с голубями, и стену... солнечные зайчики постепенно переползают к двери, и с ними уходит тепло.

Лихо знобит.

— Это у вас, любезный мой друг, от потери крови, — говорит медикус и пощипывает себя за усы.

Хорошие усы. Длинные.

— И последствия удара сказываются... чудо, что вы живы.

Чудо. Наверное. И Лихо хочет узнать про брата, но говорить не получается, в горле — то же клекотание, но доктор понимает:

— А брат ваш жив... герой...

Он приносит газеты, пусть и не свежие, но вкусно пахнувшие бумагой и чьими-то руками, которые этих газет касались, апельсинами, травой... Лихо прежде не знал, что от запахов может быть так хорошо. И от слов. Ему читает сиделка, которую приставили, потому как он, Лихо, должен лежать неподвижно. У него кости сломаны, порваны мышцы и вообще в кишках дыра. Лихо ее не видит, но в отличие от нынешнего проклятия чувствует распрекрасно.

Ему стыдно и за дыру, и за то, что зарастает она медленно, несмотря на все усилия целителей, которые стараются, но...

...приходится лежать.

День за днем.

Сиделка читает, а еще моет и судно подает, и Лихо никак не способен привыкнуть к этой процедуре, которая, пожалуй, более мучительна, чем ежедневные визиты ведьмака.

Аврелий Яковлевич, душевно матерясь, выкручивает кости, сращивая разломы. И больно... неимоверно больно, но лучше боль, чем обжигающий стыд, что он...

...статьи слушает.

Интересно.

И рад, что Себастьян быстро на поправку пошел.

Он герой... все об этом пишут...

— Погоди, — Евдокия дернула за волосы, — получается, что твой братец, который тебя в эту авантюру втянул, стал героем?

— Он ведь поймал душегубца, а победителей не судят...

...особенно когда победители нужны, дабы поднять престиж полиции. Про это рассказал Бес, который тогда еще немного стеснялся этой новообретенной славы и героем себя вовсе не чувствовал.

— А ты?

— А что я? Я ведь только рядом стоял...

Евдокия не согласна. И хмурится...

— Мне эта слава героическая без надобности была... а вот Бес — дело другое... он ведь тоже долго считал себя уродом... а тут вдруг — не урод, но герой. Его к награде представили... и его величество вручали. Отец на вручение явился, гордый был...

Об этом Лихо рассказали, сам он на вручение не попал.

...из госпиталя выпустили зимой, и Лихослав спускался по ступенькам медленно, осторожно. Он знал, что здоров, но собственному телу не верил. Кости по-прежнему хрустальными казались, чуть тронь — и рассыплются.

...отец прислал записку, что занят.

Разочарован.

Он так и сказал в тот единственный раз, когда появился в палате. Лихо не спал, но притворился спящим, потому что было стыдно смотреть отцу в глаза. А тот долго стоял на пороге, разглядывая Лихослава, морщился, думал о чем-то...

— Он полностью поправится? — спросил у доктора, который был тут же и наверняка знал, что Лихо не спит, но выдавать не стал.

— Да.

— Вы уверены?

— Более чем. Угроза для жизни миновала. Организм молодой, но требуется время...

Отец все-таки подошел к кровати, он ступал медленно, и старый больничный пол поскрипывал под его весом. Он встал, заслонив и окно, и стену с солнечными зайчиками.

Смотрел.

Потом вздохнул и сказал:

— Я очень разочарован...

...и странно было думать, что к выписке он появится. А матушку Лихослав сам попросил не приходить...

...сослуживцы исчезли, наверное, поверили, что в полк Лихо больше не вернется.

И как-то так получилось, что он стоял один на обледеневших ступенях, не решаясь сделать шаг. Ступеней десяток, а дворник только-только начал лед скалывать...

— И чего встал столпом, — спросил кто-то, набрасывая на плечи теплый плащ. — Сам пойдешь или на руки взять?

— Только попробуй.

Плащ пришелся кстати. Почему-то про теплую одежду Лихо не подумал.

— Перчатки надень. — Себастьян протянул собственные, толстые и на меху.

Спускаться не помогал, но держался сзади, и как-то легче становилось от понимания, что он — рядом. Заговорил только в коляске, которая ждала у входа.

— Прости.

— За что? — Лихослав сидел нахохлившись. Мерз. Он как-то привык к теплу и покою госпиталя, и даже когда ему разрешили выходить в маленький садик, покидал палату неохотно.

Страшно было.

Кому признаться... страх хуже стыда. И только в палате среди серых стен, единственным украшением которых был Вотанов крест, он чувствовал себя спокойно.

В саду же вспоминал клены.

И сумерки.

И серую фигуру в плаще... все казалось — взметнутся руки, сминая воздух. И будет больно.

— За все. — Себастьян перестал улыбаться.

— Ерунда...

...он ведь приходил, и часто.

Приносил книги, убирал газеты, точно и вправду стыдился того, что в них писали. Читал. Рассказывал что-то, почему-то Лихославу было невероятно сложно следить за этими его рассказами, он терялся в словах.

И не отвечал.

Апельсины принимал. И яблоки, круглые, с полупрозрачной тонкой кожурой, такие только в имении и росли, и, значит, Бес за ними в поместье ездил.

О яблоках рассказывать было легко и еще о том, что Бес помогал с перевязками, и когда Лихо разрешили садиться, сажал, потому что у самого Лихослава духу не хватало... и заставлял на ноги встать.

Ходить не учил, но...

Ему не за что было просить прощения.

— Я тебя в это дерьмо втянул, — сказал Бес, поднимая воротник плаща, — и я виноват, что...

Он и сам получил.

Лихо знал.

Удавка. И удар ножом, и клинок мало не дошел до сердца, и если так, то выжил Бес исключительно ввиду врожденной выносливости.

А может, просто чудом.

— Отец приходил. — Бес помог выбраться из коляски.

Привез не домой, а на свою квартирку, и обстоятельству этому Лихо был рад. Домой не хотелось совершенно.

— Зачем?

Лихо с плащом сам справился и с перчатками и выдохнул с облегчением немалым: в четырех стенах он чувствовал себя много спокойней.

— Поговорить. Садись. Чай? Кофе? Пирог?

— Чай. И пироги. С чем?

— А кто ж его знает... с чем попадет.

Попался с кислой капустой, что было в общем-то неплохо.

— Предложил мне титул. — Себастьян есть не стал, выглядел он... раздраженным? — Заявил, что был не прав тогда... и что ты вряд ли оправившись... и если так, то он в своем праве признать тебя недостойным наследником.

Наверное, этого следовало бы ожидать, но все равно было больно. Себастьян же, вылив чай в горшок с фикусом — судя по печальному виду и обвисшим листьям, растение чаевничало неоднократно, — плеснул в кружку виски.

— Я послал его лесом... ну не лесом, но послал.

— Почему?

Отойди титул к Себастьяну, разве это не было бы справедливо? По праву рождения, по...

— Ты еще спрашиваешь? — Бес удивился. И удивление его было непритворным, к этому времени Лихо уже приноровился чувствовать братца.

Играть тот любил и умел, но... сейчас он не играл.

— Спрашиваю. — Лихо держал свою кружку обеими руками и остывающий чай нюхал настороженно, пытаясь в запахах травы найти... что?

Сам не знал.

— Лихо... ты и вправду думаешь, что мне этот титул нужен?

— Не только титул, но и...

— Что? Земли? Сколько тех земель осталось? Майорат и кое-какие огрызки? Семейное имение? Ну да, ностальгия меня порой мучит, но не настолько же!

Он осушил кружку одним глотком.

— Да и не в том дело, а... я не хочу становиться князем, Лихо.

— Почему?

— Заладил как попугай... почему, почему... потому. Мне нравится моя жизнь. Титул — это... это только на визитных карточках красиво. В остальном... обязательства и снова обязательства... и еще... и нужно будет думать, как не просадить остатки хельмовых земель... и имение содержать, а я не представляю, за кой ляд я его содержать стану... разбираться с арендаторами... в Совете опять же... нет, туда папаша нас до последнего не пустит. Он же, пока в Совете торчит, считает себя очень важным... вершитель судеб.

— Ты на него злишься?

— Злюсь. Еще как злюсь, Лихо. И не понимаю...

— Чего?

— Почему ты не злишься. — Бес швырнул кружку в стену, а когда квартирная хозяйка выглянула, лишь руками развел, мол, само собой получилось.

Она же лишь головой покачала да поинтересовалась, не принести ли свежего чаю...

— Удивительная женщина, — сказал Бес, когда она вышла. — Невероятно крепкая нервная система... я бы себя давно уже убил. Я злюсь не из-за себя. Я ж говорю, такая жизнь не по мне... вот в управлении интересно, правда, Евстафий Елисеевич ругался жутко, но теперь уже не посмеет на бумагах держать. Я ж лицо познаньской полиции.

Лихо, окинув братца свежим взглядом, лицо оценил.

Наглое.

Неосторожно познаньская полиция подошла к выбору нового образа...

— А вот с тобой он права не имел поступать так! — Чешуйчатый хвост щелкнул по столику, расколов блюдо.

— Имел.

— Нет. — Себастьян сложил осколки на поднос. — Я ему так и сказал...

— А он?

— Стал говорить, что просто хочет исправить давнюю ошибку. И что, получив титул, я сделаю хорошую партию... он мне и невесту подыскал. С пятью миллионами приданого... влюбилась, дура...

— Потому что влюбилась?

— Ага... не в меня, в портрет... но ты, Лихо, не отвлекайся. Да пребудут боги с этой дурой... я так папаше и сказал. Ему ведь не ты и не я нужны... ему эти пять миллионов покоя не давали...

Все сказанное до отвращения походило на правду.

— Я не позволю продать себя... и тебя тоже.

Только слабо верилось, что отец просто так отступит.

...запах того чая остался в прошлом и слабость предательская, когда казалось, что обида вот-вот выплеснется криком или того хуже — слезами...

В настоящем была женщина, которая слушала. И, наверное, умела слушать, если хотелось говорить. И даже становилось не по себе от мысли, что он, Лихо, не успеет рассказать.

— Бес... он вовсе не такой, каким кажется. — Легко шептать, касаясь губами мягких волос. — Знаю, что порой он похож на...

— Идиота.

— Легкомысленного человека, — поправил Лихослав. — Но это — наносное... отец не отступился бы сам, но Бес пригрозил, что даст эксклюзивное интервью... расскажет подробно и о своем детстве, и о том... как ему не хватало отцовской любви. В этой своей манере, которая не то шутка, не то... он бы не побоялся ославить отца на все королевство...

— И правильно бы сделал. — Евдокия коснулась щеки.

Щетина.

И колется, наверное... и до полной луны не сойдет, но и вырасти не вырастет. Лихо пробовал бороду отращивать, так ведь не росла...

...заговоренная.

Проклятый.

— В общем-то следующие несколько месяцев я жил у него. В казарму возвращаться было рано, меня б не допустили. Вовсе намекали, что надо бы в отставку подать... по состоянию здоровья.

— Ты не подал.

— Подал бы... Бес не позволил, сказал, что сначала он меня в седло посадит, а потом уж я буду решать: позволяет мне здоровье служить или нет. И посадил. Не только.

Эти воспоминания — с острым запахом шоколада, до которого Себастьянова квартирная хозяйка весьма охоча. С длинными зимними вечерами в лиловых тонах и прогулками.

Прогулки Лихо ненавидит.

Ему страшно. И стыдно за страх.

Он пытается найти причину, чтобы не выходить из дома, и Бес всякий раз выслушивает, кивает и бросает короткое:

— Идем.

Идти приходится.

По улице, мимо людей, стараясь не пялиться на них, не высматривать среди гуляющих фигуру в сером плаще... тот мертв, но есть же другие...

...по парку, той самой дорожке, которая...

...под снегом или дождем, не важно. И Бес рядом, идет, рассказывает очередную свою безумную историю, которая наверняка наполовину выдуманна, но Лихо слушает.

Это отвлекает.

— Так получилось, что за эти месяцы Бес стал самым близким мне человеком. К концу весны я вернулся на службу... в общем-то дальше у каждого своя жизнь. Но мы все равно виделись часто... я служил... он тоже... про его подвиги часто писали, правда, редко, чтобы правду... от той истории с бандой Соловейчика у него еще шрам остался... а крышевецкие аферисты едва не утопили... его и отравить пытались, и проклинали...

— А он все живет и живет... пар-р-разит...

— Это да. — Лихо не удержался от улыбки. — Живет и живет... и пусть живет. Он мой брат, и... и он никогда не хотел причинять мне боль. Специально. У него порой странные методы, но...

— Ты уехал на границу не только потому, что нужны были деньги?

— Да.

Наверное, это правильно, когда кто-то знает про Лихо едва ли не столько же, сколько он сам.

— Я долго с отцом не разговаривал. Хотя нет, просто не искал встречи, как и он со мной. Вооруженный нейтралитет. Он знал, что Бес рассказал мне о... том предложении. А я знал, что он знает, и... как-то вот неловко было. Чувствовал себя виноватым, хотя вроде и причин не было. Но все равно...

Он замолчал, прислушиваясь к темноте, которая смотрела на Лихо пустыми глазами призраков. Он чувствовал их, бестелесных, незримых, рожденных пролитой в доме кровью, но пока еще бессильных.

Пока.

Еще.

Луна росла, а с ней росла и сила дома. И призраки, выглядывая из зеркал, подступали ближе... крались, чтобы остановиться у самой постели. Они видели Лихо иным...

...и не его, но тварь, которая засела в нем.

Боялись.

Пускай. И глухое рычание заставило призраков отступить.

— Все хорошо?

— Все хорошо, Ева...

Сам дом замирает, не готовый пока перечить страшному гостю, но готовый слушать его историю. Пускай...

— Отец сам появился. Пришел. Не просил прощения, но сказал, что за семейным ужином меня ждут. Я появился, думал, что они с мамой помирились, но нет... семейный ужин — это такое мероприятие... довольно тоскливое... сестры, братья... кроме Беса, он по-прежнему был вне рода, пусть отец старательно делал вид, что все замечательно... он приловчился вид делать. Зато были гости...

...девушка в белом платье.

Не только она, но Лихо видел лишь ее... чеканный профиль с курносый носиком и капризно выпяченной нижней губкой, которая показалась ему весьма очаровательной.

Бледный овал лица.

Брови взлет и карие глаза, яркие, разума лишившие...

...а Бес сказал — приворот.

Противозаконно, но очень эффективно... легкая форма, чтобы интерес вызвать... вызвала... Лихо растерялся под взглядом ее. И помнится: смотрел, смотрел, неспособный насмотреться. Он и сейчас помнит кисейный туман ее наряда, флердоранж в темных волосах, локонов на шее, саму эту шею беломраморную.

Помнит руку и топазовый браслет, казалось, чересчур массивный, тяжелый для хрупкого этого запястья. Помнит, как браслет почти соскальзывал с узкой ладошки, с пальцев чрезвычайно тонких... и тогда Христина вскидывала руку, и браслет падал уже к локтю, сминая кисейный рукав.

А Лихо смотрел, не находя слов, чтобы выразить восхищение...

— Она была купеческой дочерью...

— Прямо как я, — фыркнула Евдокия, локоть выставляя, точно отталкивая. — Тебя, Лихо, прямо тянет на купеческих дочерей...

— Грешен, каюсь... — Локоть он гладит, пальцами ощущая шершавую кожу. — Но не раскаиваюсь.

И от поцелуя она уворачивается.

Упрямая женщина.

Окольцованная...

— Ее отец сделал миллионы на соли... а Христина — единственная наследница.

— И вас решили свести.

— Точно, свести...

...тогда все казалось иным, солнечным, весенним. А ведь и вправду весна была, та самая, робкая, с ярким солнцем и лиловыми первоцветами, которые продавали по медню за пучок...

Весна и прогулки.

Парк.

Двуколка. Христина под кружевным зонтиком. Она бережет фарфоровую кожу, слишком нежную, чтобы прогулка длилась хоть сколько бы долго... ветер холодный. И Христина кутается в соболя.

Она молчит, и в этом молчании Лихо усматривает скрытый смысл.

Как и во взглядах.

В каждом ее движении, в самом ее существовании, так резко перевернувшем его жизнь.

...а Бес сказал, что так бывает. Приворот отступает, а душа, не желая расставаться с любовным дурманом, сама уже вспыхивает.

И он, Лихо, полыхнул.

Жил от встречи до встречи, а между ними становился нервным, злым...

...дрался.

И это тоже естественно для приворота. Наверное, он, Бес, уже тогда понял, в чем дело,

оттого и промолчал... и Наверное, будь Христина иной, не стал бы вмешиваться...

Теперь легко гадать.

— Христина попросила познакомить ее с Бесом.

— И ты познакомил.

— Да, почему нет? Я не ревновал... странно, к остальным — да, даже к случайным знакомым. А к нему — нет. Это ж брат, и... я гордился, что он мой брат.

Евдокия хмыкнула, кажется, она-то гордости по поводу такого родства испытывать точно не будет.

— Я радовался, что они так легко нашли общий язык. Да, я хотел, чтобы Христина понравилась ему... и чтобы он Христине... большая дружная семья. Дурак?

— Еще какой. — Евдокия провела ладонью по спине, не то успокаивая, не то проверяя, не пробивается ли шерсть.

— Через неделю Бес прислал записку. Пригласил в гости... поговорить... я и появился... ну и увидел... их вдвоем увидел.

И теперь-то горло перехватывает от боли.

Чтобы унять ее, Лихо обнимает свою женщину, крепко, до хруста в костях, а она терпит, гладит щеки. Успокаивает.

— Поначалу думал, что с ума сойду... мне она нужна была... а Бес про приворот... про то, что эта нужность — неестественного свойства, и просто отец в очередной раз решил семейные дела за чужой счет поправить... за мой, значит... а я ему нос разбил.

— Сильно?

— Сильно.

— И полегчало?

— Если бы, — вздохнул Лихослав, губами трогая шею. — Знаешь... всем было все равно. Христина не чувствовала себя виноватой, она прямо заявила, что меня не любила и не любит и что взрослые люди всегда сумеют договориться... отец тоже так считал. Сказал, что я дую, что более выгодной партии не найти... сестры плакали... они быстро поняли, что без Христиных денег им не видать красивого дебюта, да и вообще все сложно... братья тоже рассчитывали... быть королевским уланом в столице — дорого...

— Знаешь, — Евдокия наматывала прядь на палец, — я начинаю думать, что Себастьян — единственный относительно нормальный человек во всей твоей семейке...

— Родственников не выбирают.

— Их это не оправдывает. И ты уехал.

— Да. Я... опасался, что уступлю. Знаешь, разумом я все прекрасно понимал. Что Христина меня не любила и любить не будет, что это... приключение — у нее не первое и не последнее... что я не хочу такой жизни. Но разум — это одно, а... я физически не мог без нее. И да, я уехал. Никому ничего говорить не стал... думал, год проведу на границе, а там — как-нибудь... что-то да решилось бы.

Вот только год затянулся на десять.

И если бы не проклятие, то... как знать, хватило бы у Лихослава духу расстаться с Серыми землями? Стоит ли врать себе, что вернуться не тянет.

Тянет.

Есть сны и серое низкое небо, разодранное в клочья. Земля. Моховые поля и перекрученные изуродованные деревья, что застыли между жизнью и смертью. Волчий то ли

плач, то ли зов...

— Почему-то мне кажется, — Евдокия спугнула видение, и Лихо судорожно выдохнул, — что твой отец меня не одобрит.

Скорее всего, но...

— Мне плевать на его одобрение. — Лихо зарылся носом в светлые волосы.

Запах хлеба дурманил.

Живой.

И близкий, и, наверное, если счастье есть, то оно именно такое...

— Только пожалуйста, — попросил он на ухо, — не надо больше Беса канделябром бить... он, конечно, еще тот гад, но... брат все-таки.

— Посмотрим.

Евдокия улыбалась.

И призраки отступили, не перед его силой, но... им нечего было делать в этой комнате.

Глава 5, рассказывающая о делах сердешных и всяческих страстях

Любовь — это торжество воображения над интеллектом.

*Вывод, сделанный профессиональной свахой на закате ее
жизненного пути*

Лизанька парила на крыльях любви.

Несколько мешал факт, что любовь эту приходилось скрывать ото всех, тогда как Лизаньке хотелось обратного: чтобы каждый человек в Цветочном павильоне, в Гданьске и Познаньске, да и во всем королевстве узнал, что она, Лизанька, скоро выйдет замуж!

Именно так!

И пусть предложение пока не поступило, но Лизанька по глазам видит — уже недолго осталось. Более того, она распрекрасно понимает, что Грель медлит не оттого, что не любит — любит и говорит об этой любви красиво, — но потому, что он на задании.

Вот завершится конкурс, вернет он себе истинное обличье, и тогда...

...Лизанька жмурилась, представляя себе, как это будет.

Князь в белом костюме — белый ему идет, оттеняет мужественную смуглость кожи — и непременно с букетом в пять дюжин роз. Красных. Потому что белые розы по цвету с костюмом сольются, а красные — контрастно и символично.

Он встанет перед Лизанькой на колени... ладно, на одно колено, и протянет букет, умоляя принять оный знаком его преогромной любви. А когда Лизанька, смущаясь — девицам положено во время сердечных признаний смущение демонстрировать, — букет примет, то князь вытащит из кармана бархатную коробочку...

...или лучше, чтобы в букете спрятал?

Лизанька призадумалась.

Мечта об идеальном предложении руки и сердца — это не просто так, она должна быть тщательно проработана.

Нет, в розах — не то, розы колются... да и как она будет искать это колечко? В каждый бутон заглядывать? Пусть лучше иначе: чтоб она с цветами стояла и смотрела на князя, естественно, со смущением, но благожелательно, взглядом подбадривая. А то ведь права маменька: мужчины — существа тонкой душевной организации, их легко смутить и оттолкнуть.

Лизаньке же замуж надобно.

Итак, князь достанет из кармана коробочку и крышку откроет, этак, мизинчиком.

Кольцо Лизанька тоже представляла себе очень даже конкретно. И не представляла — видела в одной ювелирной лавке, еще там, в Познаньске, о чем тонко ухажеру намекнула, как и о количестве роз... и про сорт надо будет сказать.

Зачем?

А потому, что воплощение собственной мечты в жизнь надобно контролировать пристально, чуть отвернешься — или розы подменят, или кольцо. Нет, ее будет идеальным,

из белого золота с крупным, чистой воды алмазом, окаймленным мелкими сапфирами. Простенько, дорого и со вкусом...

Жаль, что нельзя намекнуть на речь... но князь и в нынешнем обличье отличался завидной фантазией, а потому Лизанька надеялась, что с речью он как-нибудь сам справится, придумает покрасивше... например, скажет, что, увидев ее, потерял покой и сон. Или что неспособен дальше жить и ежели она, Лизанька, ответит отказом, то немедля вышибет себе мозги...

Лизанька поморщилась и решительно вычеркнула эту фразу. Все-таки девичьи мечты с вышибленными мозгами увязывались слабо. Скажем, если она ответит отказом, то... то князь уйдет в монастырь.

Да, и романтично, и в живых останется. Она же, Лизанька, не зверь какой...

Но ответ даст не сразу, потому как сразу соглашаться на предложение кавалера — дурной тон. Она вздохнет, скажет, что все это — ну очень неожиданно, и она просто не понимает, как ей теперь быть... и что, конечно, слова князя ей очень льстят, но она не сможет пойти против воли маменьки и папеньки...

...нет, сможет, конечно, но князю о том знать вовсе не надобно, как и о том, что маменька всяко препятствовать не станет, а с папеньки спрос невелик. Смирится.

Как бы там ни было, но Лизанька, смущаясь еще сильнее, нежели прежде, все ж ответит, что сердце ее всецело принадлежит князю и что иного мужа она себе помыслить не могла... и еще что-нибудь в том же духе. Ей несложно, а ему приятно...

И колечко примет...

...надо будет и на размер остороженько намекнуть, а то нехорошо получится, если заветное колечко, скажем, маловато окажется. Дурная примета.

Лизанька вздохнула и уставилась на собственные пальчики, чудо до чего бледные и изящные.

Сколько забот... а еще конкурс этот... и папенька... вздумалось ему навестить... и ведь не просто так появился, а с очередной нотацией... небось эта, черноглазая, донесла...

С-стервозина!

Ничего, Лизанька про нее тоже найдет чего рассказать...

— Скучаете, моя прелестница? — Грель появился из кустов и с поклоном протянул Лизаньке розу. Красную. Слишком, пожалуй, красную. Надо будет сказать, что Лизаньке очень по вкусу темные, чтоб почти черные были... да, такие хорошо в букете смотрятся.

— Как можно? — Лизанька розу приняла и, поднеся к носу, вдохнула аромат. — Вы же здесь...

И взгляд долу опустила.

Грель же, обойдя лавочку, которая стояла в месте, приятно уединенном, скрытом от любопытных глаз зарослями колючего бересклета, присел рядышком.

И за руку взял.

И ладонь поцеловал, а потом и каждый пальчик, и взгляд его пылкий заставлял Лизаньку то краснеть, то бледнеть, воображая себе уже не предложение, но их первую ночь...

...после свадьбы...

...свадьба Лизаньки тоже должна пройти идеально.

Платье Лизанька уже выбрала и для себя, и для подружек невесты... вот обзавидуются-то... и надобно будет репортеров пригласить, настоящих, а не как это недоразумение, с

которым Лизаньку угораздило связаться... знать бы наперед, что она сама и без помощи...

— Ах, дорогая моя, скажите, о чем вы думаете? — Грель оставил левую ручку в покое и за правую принялся.

Усы его щекотали ладонь...

...и хорошо, что у князя усов нет. Не то чтобы неприятно, но... непривычно.

— О нас...

— О нас, — томно повторил он. И замолчал, ручку Лизанькину пальцами сжимая, глядя, этак, с выражением... — Вы и я, моя дорогая Лизавета... Мы созданы друг для друга... предназначены свыше...

Вот! Лизанька всегда так думала, и маменькины карты твердили то же, а папенька все упрямылся. Но теперь-то и он поймет...

— Наши судьбы связаны той незримой нитью, которая...

Он говорил так пылко и страстно, что Лизанька заслушалась, а оттого и не заметила, как вдруг оказалась в объятиях князя.

— Что вы...

— Молчите, искусительница!

Молчит.

И вообще она, конечно, мечтала об объятиях именно таких, страстных и романтических. Не хватало, правда, пения соловья. И хорошо бы на закате... или вовсе при полной луне, а то ведь полдень почти... зато розы цветут, и розы, пожалуй, луне замена подходящая.

...и первый их поцелуй должен был быть не таким. Нет, Лизанька, конечно, в поцелуях не разбирается, но ей показалось, что нынешнему несколько не хватает нежности.

Торопливый.

Жадный какой-то... и что за манера язык в чужой рот совать? Или это так надобно? Неудобно спрашивать... девице влюбленной надлежит испытывать трепет, и чтобы бабочки в животе порхали.

Лизанька прислушалась.

Трепета не было. Бабочек тоже. В животе стараниями панны Клементины образовалась удивительная пустота, которая заставляла с тоской думать вовсе не о поцелуях, но о маменькиных варениках с вишней.

Они диво до чего хороши получались, а вишня небось как раз и поспела, красная, сочная.

— Ах, моя дорогая. — Грель все же разжал объятия, и Лизанька с преогромным облегчением опустилась на лавку, подумала, что, возможно, и обморок следовало бы изобразить, но после от сей идеи отказалась: вдруг подхватить не успеет? А трава не особо чистая... да и возвращаться пора, панна Клементина что-то там о снимках говорила... — Простите меня! Ваша красота заставила меня потерять голову!

Лизанька с готовностью простила.

В конце концов, так даже лучше: глядишь, еще через пару поцелуев она привыкнет и к усикам, и к языку...

— Терять голову, — раздалось из кустов, — весьма неразумно. Как шляпу носить станете?

Хрустели ветки, дрожали листья, облетали на дорожку цветы. Панночка Белопольска, кое-как продравшись сквозь барбарис, сбила с плеча былинку.

— Вот у нас в городе, — она поправила растрепанный бант и паутину, что приклеилась

к подолу платья, смела, — девиц по кустам зажимать не принято.

— Мне кажется, — с достоинством ответил Грель, окидывая акторку насмешливым взглядом, — вы лезете не в свое дело.

— Я? Да я не лезу, я так, мимо проходила, а тут вы сидите...

А ведь донесет.

Видела все. И то, как князь Лизаньку обнимал, и то, как целовал. И ладно бы просто видела, но нет, влезла... и папеньке отпишется...

...тот на князя осерчает.

Лизанькина идеальная мечта задрожала, готовая прахом осыпаться. Этого она точно не могла допустить и потому, одарив акторку неприязненным взглядом, сказала:

— Грель... ты иди, дорогой... а мы тут сами...

Спорить Грель не стал.

И правильно. С женщиной разговаривать женщина должна, а то мужчины вечно все не так понимают. Акторка проводила Греля долгим внимательным взглядом, в котором Лизаньке почудилась насмешка. А насмеяться над любимым почти-уже-супругом она никому не позволит.

— Ну и чего ты сюда приперлась? — поинтересовалась Лизанька, упирая руки в бока, аккуратно как матушка делала, когда торговке одной доказывала, что торговка эта неправая была в своей попытке всучить матушке гнилой бархат. — Следишь? — прошипела Лизанька, наклоняясь к самому акторкиному лицу.

Подмывало в оное лицо вцепиться, выцарапать черные наглухие очи. Или хотя бы патлы ее смоляные повыдергивать...

...думает, что ежели королевич на нее заглядывается, то теперь все можно?

Королевич королевичем, но Лизанька от своего счастья не отступится.

— Семак хочешь? — дружелюбно предложила черноглазая стервь, и вправду вытаскивая из ридикюля горсть крупных тыквенных семечек. — Я вот страсть до чего семки люблю! С ними в голове такая ясность наступает, что просто диву даешься... бывало, возьмешь горсточку, сядешь на лавочке и лузгаешь... птички поют, цветочки цветут... благодать.

Она ссыпала семечки на подол Лизанькиного платья.

— И вот об чем бы ни думал, всенепременно поймешь, как оно правильно надобно.

Семечки черноглазая стервозина брала двумя пальчиками, притом оттопыривала мизинчик с розовым ноготочком.

— А ты и думать умеешь? — не удержалась Лизанька.

— Иногда.

Улыбалась она премерзко, ехидно, всем своим видом показывая, что Лизанькины надежды тщетны и что любовь ее — между прочим, не просто любовь, а всей Лизанькиной жизни — это так, пустяк-с.

Навроде тех же семечек.

— Я не желаю тебе зла. — Раздавлив скорлупки пальцами, Тиана отправляла их в кусты, а сизоватые, высушенные до хруста семечки бросала в рот.

Грызла.

И выглядела при том страшно собою довольной.

— Но твой кавалер мне не нравится.

— Главное, чтоб он мне нравился, — ответила Лизанька, внезапно успокаиваясь.

Да и положила руку на сердце, что эта, чернявая, ей сделает?

Ничегошеньки.

Да, папеньке нажалуется... да, папенька опять станет Лизаньке пенять, что, дескать, ведет она себя непозволительно... но и только.

Князь настроен пресерьезно, не отступится...

...и будет Лизаньке идеальное предложение с букетом розанов, кольцом и страстным в любви признанием... а потом она снова позволит себя поцеловать.

Жениху ведь можно.

— Он может оказаться... не тем человеком, за которого себя выдает. — Тиана слизала с пальцев полупрозрачные былинки, которые остаются от тыквенной скорлупы. — Представляете, как оно огорчительно будет?

— Представляю, — сквозь зубы ответила Лизанька.

Семечки она не возьмет.

Принципиально.

И еще потому, что девицы высокого рода, даже если только высокий род в перспективе ожидается, семечки не едят, если, конечно, оные девицы — не круглые дурочки навроде Тианы Белопольской.

Где ее папенька откопал только?

— Вот у нас в Подкозельске...

— Прекратите! — Лизанька смахнула семечки на траву. — Я знаю, что нет никакого Подкозельска...

— Как нету? — притворно удивилась чернявая стервь. — Есть! Еще как есть! Хороший город! Основан в три тысячи пятьсот пятьдесят втором году от сотворения мира... ежели мне не верите, то в справочнике гляньте.

И глядит так, что Лизанька краснеет.

От злости.

Исключительно.

— Вы... я знаю, что вы не та, за кого себя выдаете!

— И кто я?

А взгляд-то такой кроткий, невинный даже взгляд.

— Папенькина акторка! Он вас привез, чтоб за конкурсантками приглядывать! И если вздумаете мне мешать... — Лизанька наклонилась к смуглому ушку. — Я всем расскажу! Поглядим, что тогда папенька с вами сделает... за разглашение...

— А вы не думали, — акторка глядела снизу вверх с такой улыбочкой, от которой у Лизаньки вовнутри все переворачивалось, — что если вдруг вы заговорите, то хуже всего будет именно вашему папеньке?

Лизанька уйти хотела, но руку ее перехватили, сжали:

— Подумайте на досуге. Быть дочерью познаньского воеводы всяк интересней, чем быть дочерью бывшего познаньского воеводы.

— Ты мне угрожаешь?

Тиана руку выпустила и головой покачала:

— Это ты себе угрожаешь. И, к сожалению, не только себе.

Вот же... дрянь черноглазая!

Лизанька ушла с гордо поднятой головой.

Себастьян вздохнул и вытер пальцы о подол нового платья из воздушной кисеи. Вот

же... Евстафия Елисеевича было по-человечески жаль, и Себастьян в кои-то веки не знал, как ему с этой жалостью быть. И с Лизанькой, конечно... по-хорошему, следовало бы доложиться, но начальство любимое, услышав о дочери этакое, в расстройство придет. А у него, у начальства, язва и сердечко пошаливает... и вообще, вышел Евстафий Елисеевич из того возраста, когда любые огорчения переживались легко. С другой же стороны, молчать никак неуместно, поскольку кто ж знает, чего Лизаньке в светлую голову ее взбредет...

Себастьян вздохнул.

Доложит.

Вечером же отпишется...

Но до вечера предстояло дожить... утро выдалось спокойным, и это спокойствие несколько Себастьяна смущало, заставляя ожидать подвоха. И теперь, стряхнув остатки шелухи на траву, он огляделся.

Тихо.

И никого-то рядом. Скворец любопытный, на дереве пристроившийся, не в счет. Смотрит круглым глазом, подмигивает... нет, этак недолго и паранойю заработать.

Возвращаться надобно.

Себастьян вздохнул, подумав, что этак он до конца недели не дотянет...

...возвращаться в Цветочный павильон не хотелось. И он позволил себе минуту слабости... ладно, минут пятнадцать слабости и отдыха на скамеечке. Себастьян задрал подол по самые колени, откинулся и глаза закрыл... хорошо.

Солнышко греет.

...на рыбалку бы... в поместье... там Себастьян уже лет пять как не был... после смерти нянечки и не заглядывал, а следовало бы... на погост сходить, на могилку... розы вот посадить... или анютины глазки... или что там принято, чтобы красиво... а потом в сад, где уже вызревают яблоки...

И Лихо с собою взять, помириться наконец, чтоб как раньше... младший и бестолковый, хотя серьезным пытается быть, а все одно бестолковый.

Родной.

И вдвоем на рыбалку. Себастьян места знает, если, конечно, за годы не изменились. Сядут на бережку, на травке, которая мягкая... вода, камыши, стрекозы... гудение мошкары... поплавки и снасти... беседа неторопливая... глядишь, Лихо и расскажет, как вляпался... а если и нет, то не надо.

Главное, что живой.

...а потом, уже по темноте, домой. И на пироги холодные, которые оставят на кухне... и еще молоко с вечернего удоя, отстоявшееся, с толстым слоем желтоватых сливок.

Хорошо...

Себастьян открыл глаза и вздохнул, отгоняя видение полусонного, словно бы выпавшего во вневременье пруда... интересно, а жив ли старый сом, о котором говорили, что будто бы он в бочаге еще при Себастьяновом прадеде завелся?

Или рыбы, даже огромные, столько не живут?

...а возвращаться пора. И пусть боги милосердные, к которым Себастьян обращался редко, дадут ему терпения. И удачи, само собой.

Чужа — удача понадобится.

...к обеду Себастьян, естественно, опоздал.

— Рада, что вы, панночка Тиана, все ж изволили почтить нас своим присутствием, —

едко заметила Клементина, когда Себастьян предстал пред ясные ее очи. — А мы уж стали волноваться, не случилось ли с вами еще какого-нибудь... происшествия.

— Да боги с вами, панна Клементина! Чего со мною случится-то? — почти искренне удивился он.

— Как знать... тогда не будете ли вы столь любезны объяснить, где пропадали?

— Дык... цветочки собирала. Веночек плела. — Себастьян продемонстрировал кривоватый веночек из одуванчиков. — Вышла погулять, а тут они...

— Кто?

— Одуванчики! И я вдруг вспомнила, как у дядечки дома на Ирженин день веночки плела. Все девки плетут, ну чтоб в воду пустить и на женихов погадать. И я тоже! И этак мне стало тоскливо на душе, что прям хоть волком вой! А я себе и сказала, что от вытья проку никакого! А веночек сплести можно, глядишь, и полегчает! Правда, хорошо получилось?

Тиана веночек примерила.

— Очень хорошо, — сдавленно произнесла Клементина. — 3-замечательно просто.

— А хотите, вам подарю?!

— Что вы! — Клементина отступила, опасаясь этакой щедрости. — Как можно, это же ваш веночек!

— Так мне для вас, панна Клементина, ничего не жалко! — воскликнула Тиана и, поплевав на пальцы, принялась тереть кисейный рукав, на котором проступило бурое пятно. — От же ж! Изгвадалася! С одуванчиками — оно всегда так, как ни пытайся, а пятна останутся... а у вас, часом, спирту не будет? Спиртом если, они легко отходят!

Спирта не было.

Пришлось переодеваться...

— Вы поторопитесь, — сказала Клементина, все ж взяв веночек двумя пальцами. — Нас ждут...

...в королевском зверинце воняло королевскими зверями, и запах заставил красавиц морщиться, вытаскивать надушенные платочки и вздыхать от понимания, что просто так уйти из этого замечательного места не получится.

— Ее величество, — к Клементине вернулась прежняя ее невозмутимость, — весьма обеспокоены тем, что в современном мире многие виды существ естественного и магического свойства находятся под угрозой исчезновения...

— Если они и в природе так воняют, то неудивительно... — пробормотала Габрисия, старательно платочком обмахиваясь.

Королевский зверинец располагался в бывших конюшнях, напоминанием о которых остался мозаичный пол с лошадиными головами и барельефы конских же мотивов.

— ...будут сделаны снимки участниц конкурса с редкими животными, с которых отпечатают коллекционные карточки...

Широкий проход разделял два ряда клеток с весьма прочными на вид прутьями. Старый, матерого вида козел наклонился, упершись лбом в решетку. Притом он то левым, то правым глазом красавицам подмигивал, будто намекая на что-то неприличное. И пятнистая гиена в соседнем вольере, поскуливая, норовила сунуть меж прутьями лобастую голову.

Дремал на ветке алконост^[1].

— ...а вырученные от их продажи деньги пойдут...

Громкий вопль, донесшийся из глубин зверинца, не позволил узнать, на что же пойдут вырученные от продажи карточек деньги.

Впрочем, кажется, этот вопрос мало кого интересовал.

— Тут невыносимо! — пожаловалась Иоланта, тайком разглядывая себя в зеркальце. И привлеченная солнечным бликом амбисфена^[2] высунула из старой коряжины обе головы...

...амбисфена Иоланте и досталась.

...Ядзите поручили молодую, зеленой масти виверну^[3], которая, не будь-то драконьей крови, оценила формы красавицы, послушно сложила крылья и голову пристроила на коленях.

От виверны несло гнилью.

Да и скалилась она недружелюбно; но Ядзита, проведя ладонью по ребристой чешуе, сказала:

— Хорошая какая... Лежи.

У виверны лишь хвост дернулся, и как-то все поняли, что лежать она будет смиренно, с восторгом глядя на Ядзиту...

Клементина переходила от вольера к вольеру...

...пара грифонов^[4] и Богуслава...

...сонный алконост, упорно скрывающий голову под крылом, для Габрисиисы...

...Лизанька, весьма довольная единорогом, который, впрочем, на красавицу поглядывал хитро, явно задумав что-то неладное...

— А вам, дорогая Тиана, — губы Клементины тронула улыбка, которую при некой фантазии можно было бы назвать доброжелательной, что весьма настораживало, — ее величество велели поручить особо редких существ...

...похоже, опасаться следовало не за Лизаньку...

— Ледяные гориллы! — сказала Клементина и, уже не скрывая насмешки, поинтересовалась: — Вы ведь слышали о ледяных гориллах?

— Нет, — ответил Себастьян, прикидывая, есть ли способ отказаться от столь высокой чести.

Как-то вот не доверял он внезапной любезности ее величества.

И гориллам.

Гориллам — так в особенности.

— Чрезвычайно редкие существа! Их осталось всего-то дюжины две. Обитают высоко в горах, во льдах... К слову, некоторые исследователи полагают, что гориллы разумны... думаю, вы поладите.

В этом Себастьян крепко сомневался.

— Лолочка выросла у нас в зверинце. А вот Казимира привезли всего два месяца как. Ее величество очень надеются получить потомство... и Казимир старательно за Лолочкой ухаживает, но она, увы, пока его стараний не оценила, но ее величество верят, что главное — терпение...

В огромной клетке под невесомым чародейским пологом царили льды. Серые. И ярко-голубые, словно кто-то высек глыбины эти из неба, и темно-зеленые, морские, и полупрозрачные, каковые и увидишь-то не сразу. Во льдах тонуло солнце, расплывалось маревом зыбкого света.

Искажало пространство, отчего ледники казались бескрайними.

И оттого не сразу Себастьян заметил, как ближайшая глыбина, темно-серая, будто припорошенная пеплом, покачнулась.

Встала на ноги...

...ледяные гориллы были огромны.

Страшны.

— А они меня... не того? — поинтересовался Себастьян, отступая от клетки. — Не сожрут?

— Что вы! — неискренне возмутилась Клементина. — Они мясо не едят.

...а если вдруг передумают, то ее величество будут, конечно, очень огорчены. И некролог составят красивый...

Горилла была уродлива.

Огромное веретенообразное тело, поросшее тонкой белесой шерстью, сквозь которую просвечивала серая шкура. Короткие задние лапы и длинные — передние, на которые она опиралась, но как-то так, что становилось ясно: и без опоры она передвигается очень даже быстро. На короткой шее сидела круглая и отчего-то лысая, точно из куска прозрачного льда выточенная, голова. И Себастьян, вглядываясь в лицо, поневоле отмечал удивительное сходство его черт с человеческими.

Высокий, пусть и скошенный лоб.

Массивная переносица и маленькие глазки черными угольками.

Неожиданно подвижный рот, который то кривился, то растягивался. Оттопырив нижнюю губу, горилла потрогала ее пальцем и издала протяжный громкий звук.

— Это Казичек... он вас не тронет.

Казичек ухнул и, привстав на кривых ногах, ударил себя в грудь кулаком.

— У! — сказал он, обращаясь к кому-то, скрывавшемуся в глубине ледяной пещеры. — Угу!

Из пещеры кинули камнем.

— Гы. — Казик огорченно поскреб шею.

...а Клементина исчезла.

— Не бойтесь, — сказал служитель. — Он у нас смирный. И дамочек всяких страсть до чего любит!

Фотограф торопливо закивал, хотя навряд ли с этим Казиком был так уж хорошо знаком. Сам-то небось к клетке приближаться опасался.

— Мы... — Он дернул Тиану за рукав и, нервно сглотнув, сказал: — Быстренько отработаем...

Кинул взгляд на Казика, который явно заинтересовался гостями, и уточнил:

— Очень быстренько.

Себастьян не имел ничего против.

В клетку он шагнул первым и поежился: холодно!

Лед был настоящим, и холод тоже... и горилла. Казик приближался медленно, ковыляя на кривоватых своих лапах. Он остановился в шагах трех и, вытянув губы трубочкой, произнес:

— Уууы...

— И тебе доброго дня. — Себастьян решил быть вежливым.

— Ы!

Вытянув палец, горилла ткнула им в панночку Тиану и сказала:

— Гы!

— Осторожней!

— Гы-гы...

— Подойдите к нему ближе, — попросил фотограф, сам же отступая к выходу.

— Вам надо, вы и подходите!

У Себастьяна не имелось ни малейшего желания приближаться к Казику, который, напротив, новому знакомству обрадовался. Он сел и, бухнув себя в грудь кулаком, произнес:

— Уыыау!

— Очень приятно познакомиться, Тиана.

Тиана сделала книксен, что привело Казика в полнейший восторг. Он подскочил на месте и радостно всплеснул руками.

...из пещеры тем временем высунулась голова второй гориллы.

Лолочка...

Выглядела Лолочка на редкость раздраженной. Она пошевелила губами, нахмурилась и когтем царапнула свежую бородавку, что третьего дня выскочила на щеке.

Бородавка Лолочке нравилась.

Она вся себе нравилась, от макушки до бледно-зеленых пяток, украшенных мелкими трещинками. Следовало сказать, что Казик Лолочке тоже нравился, но не может же женщина, пусть даже она и горилла, вот так просто взять и признать это?

И Лолочка, понимая, что деваться Казику некуда — в клетке она провела последние десять лет жизни и точно знала, что деваться некуда, — тянула время, кокетничая.

Сегодня она бы приняла от него сосульку.

Или завтра...

...или послезавтра на самый крайний случай. А через месяц-другой, глядишь, и уступила бы настойчивым ухаживаниям, позволила бы выбрать из шерсти снежных блох... но кто ж знал, что все так повернется?

Под Лолочкиным взглядом Себастьян чувствовал себя крайне неудобно.

Казик же, обрадованный такой компанией — новая знакомая, несмотря на subtilность и просто-таки неприличное отсутствие шерсти, которую заменяло нечто тонкое и вряд ли теплое, очень ему понравилась, — подвинулся ближе. И дружелюбно протянул руки, предлагая согреться...

— Ыыыр! — произнес он с придыханием.

Вон как дрожит, несчастная.

...за свою недолгую жизнь Казимир успел сменить три зверинца и свести знакомство с дальними южными родичами, которые во льдах не выживали.

Новая знакомая чем-то весьма на них походила.

Но от щедрого предложения отказалась.

— Может, не надо?

Себастьян смотрел на Казика.

Казик — на Себастьяна... и взгляд-то выразительный... устав ждать, Казик просто сгреб понравившуюся ему панночку в охапку, дыхнув на ухо вонью.

— Уыыы, — пропел он нежно. — Уааа...

— Может, — Себастьян попытался вывернуться из нежных, но крепких объятий, — не надо «уааа»?

Казик был не согласен категорически.

— Ыыыргых! — Он вытянул нижнюю губу и, наклонившись к уху, томно засопел.

От сопения у Себастьяна волосы на затылке шевелились.

— Улыбайтесь! — велел фотограф. — Обнимите его за шею!

Сам бы и обнимал, если такой умный... но Себастьян оскалился и обвинил могучую шею Казика руками.

— Уугу! — одобрительно сказал тот. — Агррра!

Лолочка целиком выбралась из пещеры и села на ледяную глыбину, всем своим видом демонстрируя негодование. В мужчинах она разочаровалась, и крепко. Стоило отвернуться на секундочку, отвлечься, можно сказать, по своей девичьей надобности, как тут же появляется какая-то страшидла немочная, которая почти-жениха и уводит.

А он, разом позабыв про Лолочкины многопудовые прелести, знай себе щупает страшидлу эту и ласково так что-то на ушко шепчет. Уже и блох искать полез.

И выражение морды при том самое что ни на есть идиотское.

— Ах! — Лолочка испустила громкий вздох и лапу выставила.

Лапы у нее были удивительно длинными, поросшими мягкой густой шерстью. Блохи в ней водились крупные, сытные и приятно щелкали под пальцами.

Но неверный Казик невесту и взглядом не удостоил.

— Орм! — Склонившись над темной головой разлучницы, он старательно копошился, надеясь отыскать хотя бы крошечную, самую заваливающую блоху.

Себастьян терпел.

Как ни странно, но Казиковы пальцы волосы перебирали бережно, не дергая и не выдирая. А на морде ледяной гориллы было выражение предельной сосредоточенности.

— Уууй! — Лолочка томно сползла с камня и потянулась, демонстрируя прямую спину. Перевалившись на бок, она застыла в позе ожидания, устремив взгляд куда-то в сторону...

И Казик все ж обернулся.

Лолочка была хороша... крупная, приятно-полнотелая, она пахла льдом и влажной шерстью, которая сразу привлекла Казиково внимание.

Ну и еще голый бледно-голубой живот, который Лолочка поглаживала.

— Ах... — Она взмахнула рукой, и когти ее скользнули по ледяной глыбине, издав душеволнительный звук, от которого Казиково сердце затрепетало. Он качнулся было, почти выпустив добычу из рук, но в последний момент передумал.

Лолочка была прекрасна.

Но капризна.

Он уже устал ходить возле пещеры, носить к ней и сосульки, и куски льда, которые, демонстрируя силу и стать, раскалывал о собственную голову. Нет, голова не болела, но болели плечи, потому как куски Казик со всей ответственностью выбирал крупные, солидные.

А Лолочка только отворачивалась.

— Урм. — Он решительно повернулся к Себастьяну и, заглянув в глаза, произнес: — Агху!

— Что, не дает? — Себастьян сочувственно похлопал гориллу по могучему плечу.

Страх исчез.

— Оуррры!

— Бывает, друг, бывает... бабы — они такие, никогда не поймешь, чего им на самом

деле надо... бывает, ты к ней со всей душой... цветы, конфеты, а она, как твоя, только задницей крутит.

— Ахха...

Лолочка нахмурилась.

Она повернулась другим боком и губы вытянула, надеясь, что Казик оценит и губы, и плоский нос ее с вывернутыми ноздрями, из которых торчали длинные белые волосы, и щеки, густо усыпанные бородавками...

— Ничего, друг, потерпи, — сказал Себастьян, преисполнившись сочувствия. — Сейчас мы ее уломаем.

— Мгы?

— Только башкой не крути...

Казик мотнул.

Понимал ли? Но, обхватив Тиану одной рукой, второй он бережно погладил ее по голове.

— Уаггры. — Он произнес это гулким шепотом.

Лолочка поднялась. Она обошла неверного кавалера по дуге, двигаясь медленно, то и дело останавливаясь и принимая позы картинные, призванные наглядно продемонстрировать нечеловеческую ее красоту. Она то вытягивала губы, то проводила ладонью по кустистым бровям, то изгибалась, поворачиваясь к Казику тылом. Солнце играло на чешуйчатых ягодицах, подчеркивая их размер и идеальную округлую форму.

Казик вздыхал и отворачивался.

Лолочка злилась.

Немочная разлучница торжествовала. Она уютно устроилась в объятиях Казика и что-то ласково нашептывала ему на ухо. А Казик слушал!

И ворковал!

Хитрую тварь все-таки выпустил, но лишь затем, чтобы, покопавшись в собственной шерсти, которая была длинной, жесткой и мужественно-всклоченной, вытащил крупную блоху.

— Уург! — сказал Казик громко, протягивая блоху новой подруге.

Блоха, издали похожая на льдинку, шевелила лапками и попискивала, отчего с панночкой Тианой все ж приключилась истерика, которая закончилась глубоким обмороком. Себастьян же, не без труда удержав обличье, подношение принял.

— Спасибо большое.

В теплых человеческих пальцах блоха замерла...

— У вас коробочки не найдется? — поинтересовался Себастьян, повернувшись к фотографу, который столь увлекся съемкой, что, кажется, забыл о страхе.

— 3-зачем?

— Для блохи.

Блоху, на диво крупную, размером с горошину, Себастьян держал аккуратно.

— Вы собираетесь ее забрать?

— Конечно, — он провел ноготком по ребристой прочной панцирю, и ножки блохи дернулись, — мне ж ее подарили. А у нас в городе не принято подарками разбрасываться!

Для блохи фотограф пожертвовал собственный портсигар...

— Уыы, — умилительно пробормотал Казик, глядя, как дама сердца прячет подарок в кисейных юбках. Зачем она это сделала, он не понял, вероятно, оттого, что прежде ей блох не дарили. — Оглых!

И, вытащив из шерсти другое насекомое, Казик сдавил его когтями.

Блоха щелкнула.

— Угу!

— Нет. — Себастьян, с трудом сдерживавший тошноту, покачал головой. — Миру мир!

И все твари имеют право на жизнь!

— Грымс...

Мысль такая вся оригинальная была внове для Казика и оттого доставляла существенные неудобства. Голова, о которую с веселым хрустом раскалывались ледяные глыбины, для мыслительного процесса не подходила. И Казик, сунув палец в ухо, попытался выковырять неудобную мысль.

В ухе зашумело.

И в голове зашумело тоже.

— Убрррур! — громко возвестил Казик, вновь ударя себя в грудь, на сей раз, правда, двумя кулаками. И бил от души, потому сам же от удара грохнулся на спину, широко раскинув руки. — Оу...

[Купить полную версию книги](#)

notes

Алконост — райская светлая птица-дева, вестница радости.

Амбисфена — мифическая птица-ящер с двух головах, размещенных по обоим концам тела.

Виверна — род дракона, имеющий одну заднюю пару конечностей и перепончатые крылья.

Грифон — мифическое существо с головой, когтями и крыльями орла и туловищем льва.